

С. Л. ФРАНК

БИОГРАФИЯ П. Б. СТРУВЕ



**С. Л. ФРАНК**

**БИОГРАФИЯ П. Б. СТРУВЕ**



С. Л. ФРАНК

БИОГРАФИЯ П. Б. СТРУВЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА  
Нью-Йорк

1956

P. B. STRUVE — A BIOGRAPHY  
*by*  
SIMON FRANK

© 1956, by  
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE  
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

*ПОСВЯЩАЕТСЯ ЕГО И МОИМ ДЕТЬЯМ*



## ОТ АВТОРА

26 февраля 1944 г. утром, в Париже, скончался Петр Бернгардович Струве. Под свежим впечатлением незаменимой утраты, когда образ отошедшего с особой живостью встает передо мной, я хочу написать мои воспоминания о нем. Он был бесспорно самым замечательным человеком из всех, с кем мне довелось встретиться в жизни и — я думаю, можно смело сказать — самым замечательным человеком нашего поколения, самой выдающейся личностью русской общественной и научной мысли последних лет 19-го века и первых десятилетий 20-го века. Я имел счастье быть его близким другом; и наша дружба не прерывалась в течение всех 46 лет, со дня нашей первой встречи до самой его кончины; хотя и немного ослабленная на несколько лет идейным расхождением, она в общем скорее беспрерывно крепла за все это время. Я бесконечно многим обязан ему в моем умственном и духовном развитии. Несмотря на то, что мы с ним были во многих отношениях совершенно разными людьми, я смею утверждать, что между нами существовала некая конгениальность, некое сродство умов и душ. Я постоянно испытывал близость, понятность мне, внутреннюю правду большинства его мыслей и духовных устремлений; и я знаю, что и он часто и в большой мере сознавал то же в отношении меня. Вполне отдавая себе отчет, насколько больше я получал от него, чем мог давать ему, я с умиленной радостью и благодарностью сознаю, что нас всегда взаимно влекло друг к другу, что в нашей ин-

тимной дружбе было что-то провиденциальное, как бывает провиденциальной любовь между мужчиной и женщиной. Если Герцен говорит, что первая юношеская дружба не менее ценна и значительна в человеческой жизни, чем первая любовь, то, я думаю, то же можно сказать об истинной, глубокой дружбе вообще, — она так же существенна и значительна — я бы сказал, религиозно осмыслена — в жизни человека, как и истинная любовь.

Чтобы не запутаться и не ошибиться в воспоминаниях, я буду вести их по возможности в строго хронологическом порядке моих встреч и моего сближения и сотрудничества с П. Б., отступая от этого порядка только там, где это необходимо для характеристики более длительных периодов жизни П. Б. При этом я отчетливо сознаю и могу фиксировать, что именно из истории наших отношений и его жизни я помню безошибочно точно, и чего, напротив, я не могу воспроизвести с полной определенностью.

## **I. ЗНАКОМСТВО С ИМЕНЕМ П. Б. И ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С НИМ. «МАРКСИЗМ»**

Имя П. Б. я впервые узнал в конце 1894 г., будучи 17-летним первокурсником московского университета (по юридическому факультету), когда вышла его первая книжка «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России», сразу сделавшая его знаменитым (его предыдущих журнальных статей — он дебютировал в литературе в 1891 году — я не знаю; в момент выхода «Критических заметок» ему было 24 года). Еще за год до этого, в последнем классе нижегородской гимназии, я стал участником кружка гимназистов (из числа их упомяну А. М. Никитина, ставшего летом 1917 г. министром внутренних дел в министерстве Керенского), исповедовавших впервые нарождавшийся тогда «марксизм». Одновременно с книжкой П. Б. вышла книга Плеханова (под псевдонимом Бельтова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Эти две книги были тогда первыми манифестами «марксизма» в русской легальной литературе. Так как Плеханов был эмигрантом, то в пределах России первым глашатаем и вождем нового миросозерцания, именовавшегося «марксизмом», стал П. Б. Наряду с ним вскоре стали известны, в качестве его со-трудников по «марксизму», экономист проф. М. И. Туган-Барановский и С. Н. Булгаков. Но для того, чтобы идейная роль П. Б. в эту эпоху его литературной деятельности стала понятной тем, кто не помнит того времени, я должен сначала вкратце изложить, что разуме-

лось тогда под «марксизмом» и что это понятие означало для нас.

Собственно, «марксизм» в широком, общем смысле веры в истинность экономического и социологического учения Карла Маркса, совсем не был новостью тех лет. Приверженцами доктрины Маркса были едва ли не все русские социалисты 70-х годов, после того, как в 1872 году один из первых русских учеников Маркса, революционер Герман Лопатин, перевел на русский язык «Капитал» Маркса. Вера в так называемый «научный социализм», провозглашенный Марксом, то есть в доктрину, претендовавшую быть научным доказательством необходимости и желательности перехода «буржуазного» общества в социалистический строй и связывавшую этот переход с деятельностью социалистической партии, была уже тогда в России общераспространенной в кругах русских революционеров. Но это не называлось тогда «марксизмом». Русский социализм, опиравшийся на учение Маркса, был, напротив, «народничеством». А именно, русские социалисты 70-х и 80-х годов верили (с одобрения самого Маркса), что русский путь к социализму отличается от западноевропейского. Тогда как для Запада, где уже существовал «капитализм», путь к социализму лежал, по учению Маркса, через скопление капиталов и промышленных предприятий в руках немногих крупных капиталистов и через соответствующую ему пролетаризацию рабочих масс и исчезновение мелкой собственности, Россия, еще не имевшая «капитализма», могла, как предполагалось, прийти к социализму более простым и органическим путем, минуя чистилище «капитализма», через развитие издавна в ней существовавшего, в лице крестьянской «общины», зародыша социализма. В этом состояло учение «народнического» русского социализма, впервые развитого еще Герценом (который был противником Маркса), а после него — Чернышев-

ским (который не знал учения Маркса) и в 70-х годах связавшего себя с доктриной Маркса. И замечательно, что эту веру в благодетельную роль крестьянской общины и даже в долженствующий из нее возникнуть некий крестьянский «социализм» разделяли в основных ее мотивах и огромное большинство русских либералов (исключение здесь составляли только Чичерин и И. С. Тургенев) и даже русские консерваторы, видевшие в крестьянской общине патриархальный оплот против нарождения в России либерально-буржуазного политического и социального строя. Вот против этого народнического социализма, в радикальных и революционных кругах также связавшего себя с учением Маркса, и выступил в 90-х годах «марксизм» в узком, специфическом смысле этого слова (после того, как политическую программу его развил в 80-х годах, в нелегальной брошюре «Наши разногласия», эмигрант Плеханов, первый порвавший с народничеством). «Марксизм» в этом смысле имел двойное значение: он был новой политической доктриной и политическим движением и, вместе с тем, новым общим направлением русской мысли. В качестве политического движения, марксизм проповедовал, что путь к социализму ведет через политическую революцию, которая должна установить в России конституционно-представительный строй, как политическое выражение буржуазного социального порядка, и что сама эта политическая революция должна быть делом рабочего класса, организованного в политическую социалистическую партию. В этом смысле «марксизм» привел тотчас же к основанию русской социал-демократической партии, которая уже в 90-х годах 19-го века начала вести пропаганду среди промышленных рабочих и создавать нелегальные организации рабочих, главной задачей которых было руководство «забастовками» (тогда как социалисты-народники одновременно организовали партию

«социалистов-революционеров»). Но еще большее значение имел марксизм, как общее идейное движение русской общественной мысли. В этом качестве он был первым последовательным западничеством в России, тогда как прежние западники, начиная с Герцена, оставались как бы «славянофилами» в области социально-экономической, мечтая здесь, как указано, об особом, отличном от Западной Европы, пути развития России. Марксизм, в этом своем качестве последовательного западничества, был представлен так называемым «литературным марксизмом», то есть литературной деятельностью в легальной журнальной печати.

П. Б. своей упомянутой выше книжкой стал родоначальником и вождем марксизма в этом его специфическом смысле идейного движения 90-х годов 19-го века. Он участвовал, правда, как я потом узнал, и в чисто практическо-политической работе по созданию русской социалистической партии; опубликованный нелегально в 1898 году «манифест» этой партии был написан им. Но главная его роль состояла в идеином обосновании марксизма, как последовательного западничества. Упомянутая его книжка кончалась нашумевшей тогда фразой — вызовом всяческому народничеству и славянофильству: «Нет, признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Чтобы понять значение этого вызова, который «марксизм» в лице П. Б. бросил исконной, уже полувековой традиции всего «передового» (либерального и социалистического) русского общественного мнения, именно его «народолюбию», надо учесть всю трудную морально-общественную позицию марксизма. В качестве общественно-политического, именно социалистического движения, он, как и все «левые» направления, выступал защитником интересов народных масс против их «эксплуатации» «буржуазией» и вообще господствующими классами. Но в своем учении о необходимости

для России пройти через стадию «капитализма», он учил о неизбежности (и благотворности в конечном итоге) обезземеления крестьянства, превращения его в лишенный собственности городской пролетариат. Для того, чтобы проповедовать это, надо было в те времена иметь изрядную дозу гражданского мужества. Я не сомневаюсь, что сам П. Б. преодолевал это противоречие своим убеждением, что процесс индустриализации и развития капитализма есть не только в культурном, но и в экономическом отношении сам по себе — то есть и независимо от его чаемого последствия — явление прогрессивное, ведущее к повышению экономического уровня жизни народных масс.

До нас, московских студентов-марксистов, доходили в 1894-96 гг. вести о шумных выступлениях П. Б. (вместе с М. И. Туган-Барановским) в схватках с народниками в Петербурге, на студенческих вечеринках и в заседаниях научных обществ. Потом я беспрерывно следил за статьями П. Б. в первом марксистском толстом журнале, им основанном — «Новом Слове», как и за полемическими статьями Михайловского, Кривенко, В. В. (Воронцова) в «Русском Богатстве» и других антимарксистских журналах.

Но здесь я должен прервать изложение этой стороны деятельности П. Б., как она мне была тогда известна, чтобы вспомнить один факт его жизни, не стоявший ни в какой прямой связи с его «марксизмом». А именно, в начале 1895 г. имя П. Б. упоминалось еще совсем в иной связи. После знаменитых слов о «бессмысленных мечтаниях», которыми молодой, только что вступивший на престол царь Николай II ответил на ходатайство, в адресе тверского земства, о созыве съезда земского собора, в обществе стало циркулировать «Открытое письмо Николаю II». Анонимный автор письма, написанного в умеренном, но достойном и энергичном тоне, упрекал царя в том, что

будуши молодым неопытным человеком, он ответил грубым деспотическим окриком на лояльную просьбу поседевших на земской работе деятелей поведать ему о нуждах страны. Письмо кончалось словами: «Вы первый начали борьбу — и борьба не заставит себя ждать». Шепотом передавали — но это скоро стало «секретом полиции» — что автором этого первого в новом царствовании доказательства политической борьбы против самодержавия был П. Б. Струве.

Этот факт интересен, как свидетельство того, что уже тогда, в раннем, юношески-марксистском периоде своей деятельности П. Б. взял на себя инициативу быть глашатаем либерально-конституционного общественного мнения. Конечно, мы, юнцы-марксисты, понимали тогда это выступление П. Б., как явление в общепринятом тогда порядке тактики революционных партий: их члены, помимо собственно-партийной подпольной работы, должны были подталкивать вперед всякое проявление внепартийной оппозиции против существующего политического строя и, если нужно, брать на себя инициативу во всем, что могло содействовать пробуждению оппозиционного настроения в стране. Весьма вероятно, что в тот момент сам П. Б. в некоторой мере именно так понимал смысл своего выступления. Но в свете его дальнейшего — уже в ближайшие годы — политического и идеологического развития, он рисуется иначе. И уже по всему смыслу и тону его первой марксистской книги об экономическом развитии России можно было при некоторой чуткости догадаться, что основной пафос самого его «марксизма» заключался в западническом либерализме, в вере в прогрессивное значение западноевропейского «буржуазного» строя и соответствующих ему либеральных политических учреждений и порядков.

Что П. Б. с самого начала не был «ортодоксальным марксистом», это явствовало уже из некоторых

«ересей», которые он позволил себе в первой своей книге, в которой он выступал основателем и поборником марксизма. Так, например, он показал себя сторонником учения Мальтуса о перенаселении, как источника пауперизма (учения, решительно осужденного Марксом). Само миросозерцание марксизма он обосновал не — как это полагалось по партийной схеме — на философском (или «диалектическом») материализме, а на неком новокантианском «критицизме» или «идеализме», одним из первых пропагандистов которого он явился. Отмечу кстати, что эти философские пассажи «Критических заметок» впервые — впрочем уже после моего прежнего гимназического увлечения Спинозой — заставили меня призадуматься серьезно над философскими вопросами (я тогда был и считал себя не философом, а «экономистом»). Эти философские пассажи «Критических заметок» были вообще первым началом возникшего через несколько лет в нашей марксистской среде русского «идеализма». На этом пути «от марксизма к идеализму», на котором П. Б. стал для многих из нас, в частности для меня, водителем, отмечу еще один ранний эпизод. В 1896 г. вышла имевшая шумный успех книга немецкого философа-юриста, кантианца Рудольфа Штаммлера, *“Wirtschaft und Recht”* («Экономика и право»), в которой была дана философская критика «экономического материализма». Автор, признавая «экономический материализм» правомерным причинным объяснением общественных явлений, настаивал на необходимости восполнения егоteleологической установкой, оценкой социальной жизни с точки зрения свободного стремления к общественному идеалу. П. Б. откликнулся на эту книгу философской статьей в «Вопросах философии и психологии», в которой одобрил и еще углубил мысли Штаммлера. Если вспомнить, что идея подчиненности общественного идеала имманентному ходу со-

циального развития составляла основной доктрина марксиста «научного социализма» и что русские марксисты вели с этой позиции яростную борьбу против так называемого «субъективного метода социологии» Михайловского, то можно оценить все значение этого философского выступления П. Б. По этому вопросу произошел обмен на страницах «Вопросов философии и психологии» полемических статей между П. Б. и другим тогдашним марксистом, С. Н. Булгаковым, который тогда еще защищал правоверную марксистскую философию.

Это «вольнодумство» или, точнее, эта внутренняя независимость мысли П. Б. в атмосфере господствовавшего сектантского доктринизма вносила совершенно новую освежающую струю в русскую общественную мысль. Мне это было тем более близко, что я сам, повернувшись первые два года студенческой жизни в революционной «социал-демократической» среде и участвуя в ее подпольной работе, по собственному опыту почувствовал, что я начинаю задыхаться в этой атмосфере сектантской веры; с осени 1896 г. я, после периода колебания и мучительных драматических объяснений с товарищами, отошел от революционно-марксистской среды и стал серьезно заниматься политической экономией, в результате чего, не перестав быть «социалистом», я пришел к сознанию шаткости и несостоятельности экономической теории Маркса (позднее, в течение зимы 1899-1900 г., в Берлине я написал критику этой теории в книжке «Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд», изд. М. И. Водовозовой, СПБ. 1900). Отмечу также, что резкое расхождение между этим свободным «критическим» марксизмом П. Б. и ортодоксальным марксизмом обозначилось сразу же: помнится, уже в 1895 г. был напечатан (и сразу же конфискован цензурой) сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного раз-

вития», в котором сотрудничали представители обоих направлений марксизма; в нем была напечатана грубая и необычайно резкая полемическая статья Ленина против П. Б., в которой он решительно отлучил его, как «буржуазного» еретика, от правоверной марксистской церкви.

В 1896 или 1897 году я познакомился с издательницей экономических книг, марксисткой М. И. Водовозовой, стал сотрудничать, как переводчик, в ее изданиях, сразу подружился с нею и через нее вошел в круг марксистов-литераторов (из числа их помню лишь статистика — позднее военного обозревателя — В. М. Михайловского). Водовозова, живя в Москве, постоянно ездила в Петербург, была неистощимым источником литературно-политических новостей и сплетен и, конечно, *au courant* (в курсе) всех событий и лиц марксистского лагеря. Через нее я был поэтому хорошо осведомлен о жизни и деятельности П. Б. Я был, таким образом, во всех отношениях подготовлен к встрече с ним; эта первая наша встреча, навсегда мне запомнившаяся, состоялась в квартире М. И. Водовозовой в Сивцевом Вражке осенью 1898 г. Она состоялась вот в какой связи.

В это время наш марксистский кружок получил предложение некого Гуровича (оказавшегося позднее провокатором) организовать издание газеты, для которой он имел разрешение и деньги. После ряда редакционных совещаний и роскошных ужинов в шикарной квартире будущего издателя было решено пригласить приехать из Петербурга П. Б. Струве. Однажды вечером я был приглашен Водовозовой прийти к ней на совещание с приехавшим П. Б. Струве и близкой ему общественной деятельницей и издательницей А. М. Калмыковой. Тут я впервые увидел П. Б., и его лицо и фигура запечатились в моей памяти. Когда я вошел, он стоял, спиной опираясь о стол, и о чем-то

оживленно говорил с В. М. Михайловским, жестикулируя, размахивая руками, тряся рыжеватой бородой, быстро сбрасывая и снова надевая пенсне (постоянная его привычка). Запомнилось какое-то духовное изящество всего его облика, при внешней неряшливости и расхлябанности, матовый цвет и тонкие черты лица и столь типичная для него манера речи: заикаясь, «экая», останавливаясь и ища подходящих слов — выражение напряженного усилия мысли в самом процессе говорения. Ему было тогда 28 лет — мне 21 год. — Через день или два после этой первой встречи, я навестил его в номере на Воздвиженке; сила, острота и напряженность его ума еще более поразили меня при этой второй встрече. Помню, что беседа — первая личная беседа между нами — коснулась двух тогда меня волновавших вопросов — надлежащего отношения к революционному движению и революционным кружкам, и отношения, с точки зрения «марксизма», к делу помохи голодающему крестьянству. (Я сам был тогда, при уже изрядной начитанности в области теоретических знаний, духовно еще совсем неоперившийся птенцом, довольно беспомощным в решении морально-общественных вопросов). П. Б. сразу же, при этой второй встрече, стал для меня моим «наставником». Общий смысл его ответа на первый вопрос сводился к возможности сочетания независимой мысли с участием в революционной работе; это участие — говорил он — есть просто дело крепости «спинного хребта», то есть дело личной стойкости и мужества. По второму вопросу меня тогда поразила простота его решения вопроса, который моему ученически-беспомощному уму казался сложным и запутанным: можно ли помогать крестьянству, если прогрессивное экономическое развитие ведет к его переходу в «рабочий пролетариат»? П. Б. сразу разрешил мое недоумение короткой выразительной фразой: «чтобы кормить голодав-

ющих, нет надобности умозаключать». Эта фраза была для меня первым образцом тех ясных, простых, метких его формул, которые так часто позднее разрешали мои сомнения и имели для меня значение руководящих указаний. — Эта вторая (первая чисто личная) встреча положила также начало моему сотрудничеству с П. Б. Со свойственным ему, позднее мне столь знакомым, стремлением и умением привлекать людей к совместной работе, он тут же предложил мне редактировать перевод одной английской экономической книжки (помню, это была книга Гобсона о безработице, вышедшая в издании Поповой). Рукопись перевода была через несколько дней вручена мне, по поручению П. Б., М. О. Гершензоном (тогда молодым начинающим писателем). Примерно через месяц или полтора после этого первого приезда в Москву П. Б., он снова приехал, на этот раз с женой Ниной Александровной. Он остановился в номерах на Арбате, над рестораном «Прага», прямо против других номеров на Арбате, в которых я жил. Мне стоило только перейти улицу, чтобы быть у него. Бесед этой встречи — или даже, может быть, нескольких встреч — я не помню. Помню только, что благодаря в особенности приветливости и лучезарной ласковости Нины Александровны, я на этот раз уже имел ощущение личного сближения с ними обоими; и помню снова общее впечатление его ума, поучительности для меня его мыслей, а также и детского смеха, часто озарявшего его лицо среди речи. После этого мы остались в связи — кажется, уже начали переписываться. Замысел издания газеты в Москве не осуществился — разрешение на нее не было получено; вместо нее, был основан в Петербурге журнал «Начало» — в котором я тоже сотрудничал рецензиями — после первых же номеров запрещенный. Одновременно вскрылось провокаторство Гуровича.

Весной 1899 года я был арестован и затем выслан

на два года из университетских городов; я поехал осенью 1899 года в Берлин, поступил в Берлинский университет и писал свою первую научную работу «Теория ценности Маркса». В Берлин в конце 1899 года приехал и П. Б. с Н. А. и вызвал меня к себе, куда то на Dorotheen Strasse. На этот раз мне пришлось впервые натолкнуться на те, позднее столь знакомые мне, странности его поведения, которые вытекали из силы его внутренней жизни и его впечатлительности, благодаря которым он часто как бы терял связь с внешним миром, переставал целесообразно в нем ориентироваться. Придя к нему точно в назначенный час, я не застал дома ни его, ни Н. А.; но, спускаясь по лестнице, я натолкнулся на них. П. Б. был по какой-то причине в большом возбуждении, громко говорил с Н. А. и при встрече сильно смущил меня тем, что, повидимому, совсем забыл, что он меня пригласил, не извинился и не пригласил меня подняться к ним. Спасла положение Н. А., которая с ласковой улыбкой просила меня, если можно, зайти к ним позднее. Так я и не узнал, в чем было дело. В эту встречу у него были и другие лица — помню А. Н. Потресова и немецкого марксистского писателя Конрада Шмидта (прославившегося тогда какой-то критической статьей в социал-демократическом журнале «Нейе Цайт» о теории ценности Маркса). Помню, что П. Б. спорил с Потресовым, доказывая, что «классовой борьбе» нельзя приписывать универсального значения в историческом процессе. Помню также, что он рассказал нам об обмене записками с известным немецким теоретиком марксизма Каутским. Он написал Каутскому: — «Несмотря на мои ереси, я очень хотел бы посетить вас», — на что Каутский ему ответил: — «Несмотря на мой догматизм, я рад, что снова увижу вас». П. Б. тогда уже был автором ряда немецких статей и пользовался уважением и любовью в среде немецких социал-демократов. Он писал в официаль-

ном партийном журнале «Нейе Цайт» (помнится, он разыскал, и опубликовал какие-то дотоле неизвестные документы по ранней истории немецкого социализма и по первым работам Маркса) и в специальном журнале “Archiv für Sozialpolitik und soziale Gesetzgebung” (о русском фабричном законодательстве). В тот же его приезд в Берлин мы встретились еще — однажды, обедали вместе в ресторане при участии моих товарищей В. Б. Ельяшевича и О. Е. Бужанского. Вскоре после отъезда П. Б. в Петербург я получил от него приглашение сотрудничать в газете «Русский Курьер» (под редакцией К. Н. Арбажина), которая также должна была быть органом русских марксистов (сотрудничество мое не состоялось). — Весной 1900 г. начали появляться в радикальном журнале «Жизнь» (редактор — В. А. Поссе) необычайно интересные, с широким философским и социалистическим кругозором, статьи П. Б. по методологии политической экономии и по теории ценности (первый набросок его позднейшей работы «Хозяйство и цена»). В этих статьях он уже решительно порывал со всеми предпосылками экономической системы Маркса и впервые намечал свое позднейшее (по существу «либеральное») учение о хозяйстве, как системе взаимодействия между свободно хозяйствующими субъектами. Меня поразила новизна и широта концепции, как-то сразу дававшей не столько новое разрешение, сколько совершенно новую постановку некоторых основных вопросов политической экономии и тем озарявшая всю проблематику новым светом. В этих статьях особенно чувствовался творческий характер мысли П. Б., пролагавший новые пути научному сознанию. Потом, осенью 1900 года, П. Б. рецензировал мою книжку (упомянутую выше «Теорию ценности Маркса») в «Мире Божием». Рецензия была очень лестна для меня, но вместе с тем П. Б. решительно отказывался принять мое «компро-

миссное» отношение к системе Маркса (критикуя теорию ценности Маркса, я все же пытался дать новое, свое собственное оправдание «трудовой» теории ценности, тогда как П. Б. имел уже тогда смелость безусловно отвергнуть этот основной догмат марксизма). Это было первым литературным выражением наших отношений, и оно имело еще забавный эпилог. Плеханов, резко критикуя где-то в нелегальной печати мою книжку, упомянул и о рецензии П. Б. и закончил, со свойственной ему манерой жертвовать истиной ради «красного словца», цитатой из Крыловской басни: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку».

Примерно одновременно с моей книгой вышла еще другая, более существенная для истории русской мысли книга, связанная с именем П. Б. — первое произведение Н. А. Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». Как это часто бывало и позднее в жизни П. Б., он первый обратил внимание на начинающего тогда, никому не известного писателя Бердяева, который прислал ему свою рукопись. Он не только устроил ее издание, но и снабдил книгу большой вступительной статьей философского содержания, в которой он шел гораздо дальше тогдашнего Бердяева в критике позитивизма и провозгласил права метафизики, обнаружив при этом большую начитанность в мало известной тогда в России современной немецкой философской литературе. В этой статье П. В. явил себя родоначальником русского идеализма. Чтобы понять значение этой идейной инициативы, надо вспомнить, с каким презрением и отрицанием относились русские радикальные круги того времени к метафизике и идеализму, в которых видели только явление «мракобесия» и политической реакции.

Следующая моя встреча с П. Б. произошла в начале 1901 года в Мюнхене. Получив в это время право

держать весной государственные экзамены (то есть соответствующее сокращение двухгодичного срока высылки из университетских городов), я на пути из Берлина в Россию заехал в Мюнхен, где учился в Политехническом институте мой брат М. Л. Франк и где центром русско-немецкого общения радикальных кругов был дом немецкого социал-демократа, д-ра Эпштейна (родом из Лодзи и женатого на русской художнице, урожд. Гефтер). Там я снова встретился с П. Б., который приехал туда, как я позднее узнал, для переговоров с социал-демократами Плехановым, Лениным, Засулич об издании внепартийного заграничного революционного журнала. Из переговоров этих ничего не вышло: П. Б. — еще недавно сам бывший одним из первых русских «социал-демократов» и анонимным автором «Манифеста» только что основанной русской социал-демократической партии — воспринимался правоверными социал-демократами, как еретик и отступник, и его замысел объединения всех русских революционных сил на борьбе с самодержавием и за конституционную политическую реформу оказался для социал-демократов неприемлемым; именно в результате этой неудачи им был через год основан, в союзе с земцами, нелегальный либеральный журнал «Освобождение», рассказ о чем ниже. Как я теперь понимаю, это время (январь-февраль 1901 года) было для П. Б. моментом его окончательного, уже формального разрыва с русскими социал-демократами и его внутреннего осознания себя участником русского либерального движения.

На ряду с этой конспиративной политической работой, П. Б. не прерывал своей литературной деятельности. Он писал тогда статьи в «Мире Божием» (постепенно переходившем на «марксистскую» платформу), в которых давал обозрение немецкой общественной и литературной жизни, и вместе с тем продолжал

идеалистическую борьбу не только с «народниками», но и с «ортодоксальными» марксистами, то есть с догматическим мировоззрением русских «социал-демократов»; главный политический смысл этой борьбы (по цензурным условиям выражаемый только намеками, для чтения «между строк») состоял именно в призывае от сектантской партийности перейти к объединяющему всю русскую оппозицию соглашению в борьбе за политическую свободу. Это стремление встретило резкий отпор со стороны русских революционных социал-демократов, которые в то время тоже пропагандировали в легальной печати — в завуалированной от цензуры форме — свои идеи. Помню, что П. Б. пришлось отвечать некому Адамовичу (псевдоним какого-то социал-демократа — не смешивать с позднейшим эмигрантским критиком 20-30-х годов), который, объявляя о разрыве своей партии с П. Б., привел цитату из «Фиеско» Шиллера: «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». (На что П. Б. отвечал другой цитатой из «Фиеско»: «Я бы не стал с легким сердцем презирать достойного человека»). Но из этих статей меня, помню, поразила одна, весьма далекая от всяких «марксистских» тем, в которой, давая отчет о драме Гауптманна «Михаил Крамер», он с неслыханной в тогдашних интеллигентских кругах смелостью одобрительно говорил о «мистике» и мистическом начале в человеческой жизни. Помню, что один из «народнических» критиков П. Б. отозвался на эту статью словами: «Струве уже заговорил о мистике — вот до чего доходят люди, которые «иссущили ум наукою бесплодной». Для меня же, как и для многих других, это было опять одним из «освобождающих» слов, которыми П. Б. помогал нам, сбрасывая стесняющую оболочку интеллигентских идей, развивать духовные силы.

Мое личное общение с П. Б. в Мюнхене в 1901 г. закончилось последней встречей, в которой я опять

узнал его с новой стороны. Однажды вечером, уезжая из Мюнхена в Россию, я неожиданно на вокзале увидел в темноте фигуру П. Б., шедшего мне навстречу с небольшим чемоданом в руках. Зная, что он не собирается еще уезжать, я недоумевал; ничего не отвечая на мой вопрос, он сел со мной в купе, проводил меня до ближайшей станции — пригорода Мюнхена — и на пути сообщил мне, что он просит меня перевезти в Россию его чемодан, под двойным дном которого была скрыта нелегальная социал-демократическая литература, и сдать его по определенному конспиративному адресу в Москве. Я был смущен этим неожиданным поручением; уже давно отойдя от революционной социал-демократической работы, не чувствуя симпатии ни к ее идеям, ни к методам, и не обладая темпераментом революционера, я в душе сразу же решил не исполнить этого опасного поручения, но, признаюсь, не имел мужества открыто заявить это П. Б., а только обнаружил колебание. П. Б. сказал мне, что он сам, не колеблясь, провез бы чемодан через пограничный осмотр; но, снисходя к моему колебанию, прибавил, что в случае отказа я могу сдать чемодан в Вене его приятелю, известному венскому социал-демократу Виктору Адлеру. Так я и сделал, и это дало мне случай познакомиться и поговорить с этим очень умным и умеренных взглядов вождем австрийской социал-демократии. Я упоминаю об этом эпизоде, потому что меня поразила решительность, энергия и настойчивость, с которыми П. Б. помогал в то время русским социал-демократическим кругам в их подпольной работе, несмотря на то, что, как я знал, он идейно с ними разошелся.

После этой встречи я около двух лет не виделся с П. Б. Весной 1901 г. я сдал в казанском университете (проживание в Москве мне тогда было еще запрещено) государственные экзамены (по юридическому факультету) и, не зная, что с собой начать, решил, что-

бы сосредоточиться, провести лето и зиму (1901-02 г.) в Крыму, где жила тогда моя мать с моим больным младшим братом, сперва в имении Токмаковых «Оleinиз» (моя приятельница М. И. Водовозова, урожденная Токмакова, жила там же), а потом, с осени, в Ялте. В Крыму же жили знакомые мне по Нижнему Новгороду Максим Горький и С. Я. Елпатьевский с семьей; там же мне довелось встретиться с Чеховым и Бальмонтом. О П. Б. я только слышал, что после политической манифестации на Казанской площади в Петербурге, на которой он присутствовал и был арестован, он был сослан в Тверскую губернию, а потом я узнал — не помню, из его ли письма или от кого-либо другого, — что П. Б. уехал заграницу. Но в течение этой же зимы 1901-02 года в Ялте я имел две вести о П. Б., которые имели большое значение в моей жизни и литературной деятельности. Первая состояла в письме от П. И. Новгородцева из Москвы (моего профессора по московскому университету), в котором он сообщал, что он вместе с П. Б. задумал издать сборник статей «Проблемы идеализма», в котором интеллигентскому позитивизму было бы противопоставлено «идеалистическое» миросозерцание и что, по указанию П. Б., он обращается ко мне с просьбой дать статью в этот сборник. Я в то время, случайно натолкнувшись на книгу Ницше «Так говорил Заратустра» и прочтя после этого несколько других его книг, был совершенно потрясен глубиной и напряженностью духовного борения этого мыслителя, остротой, с которой он зановоставил проблему религии (как прежде нам казалось, давно уже разрешенную — в отрицательном смысле — всеми просвещенными людьми) и проверкой основоположений нравственной жизни. Под влиянием Ницше, во мне совершился настоящий духовный переворот, отчасти, очевидно, подготовленный и всем прошлым моим умственным развитием, и переживаниями личного поряд-

ка: мне впервые, можно сказать, открылась реальность духовной жизни. В душе моей начало складываться некое «героическое» миросозерцание, определенное ве-рой в абсолютные ценности духа и в необходимость борьбы за них. Я с радостью ухватился за предложе-ние П. И. Новгородцева и написал статью — первую мою философскую работу — «Ницше и этика любви к дальнему». В процессе обдумывания и писания этой работы я вместе с тем отчетливо сознавал, что на этом новом пути я в основе солидарен с П. Б. и что он луч-ше других поймет меня, и я решил посвятить ему эту работу (ко времени ее напечатания, я уже знал, что П. Б. стал «эмигрантом»; посвящение поэтому обозна-чено его инициалами П. Б. С. Сам П. Б. участвовал в «Проблемах идеализма» статьей «К характеристике на-шего философского развития» за подписью П. Г.).



## II. ЭПОХА ПЕРВОЙ ЭМИГРАЦИИ П. Б. СТРУВЕ (1902—1905)

Вторая весть о П. Б. имела сенсационное общественное значение. До меня уже доходили слухи, что в Твери П. Б. о чем-то договорился с «земцами» — И. И. Петрункевичем и Ф. И. Родичевым — и что его отъезд заграницу стоит в связи с этим. Весной 1902 г. в Ялту приехал публицист В. Я. Богучарский-Яковлев (которого я знал уже раньше, не помню откуда). Он зашел ко мне и сообщил, что находится в поездке по России, чтобы осведомить всех сочувствующих об основании П. Б. в Штуттгарте политического журнала «Освобождение» и привлечь к участию в нем. Журнал был основан по инициативе П. Б. и тверских земцев и имел задачей объединить русскую оппозицию на программе конституционного преобразования России. (Финансировал его, как я потом узнал, главным образом наш общий знакомый Д. Е. Жуковский, который издал и «Проблемы идеализма» и после того стал издателем философских книг). Весной 1902 г. я получил от П. Б. письмо из Штуттгарта, в котором он сообщал, что у него родился четвертый сын — Лев; я его тотчас поздравил, присоединив поздравление также и с рождением «еще иного ребенка». Это решение эмигрировать было первым для меня (да и для других) обнаружением основной черты морального характера П. Б.: его готовности к жертвенности в борьбе за политические идеалы. Надо вспомнить, что самодержавие казалось тогда чрезвычайно прочным; никому не

могло и в голову прийти, что политическая задача, которую ставил себе журнал «Освобождение», будет осуществлена уже через три года. И сам П. Б., да и все другие, скорее думали, что он стал эмигрантом на долгие годы, — может быть, на всю жизнь, подобно Герцену.

С этого момента, в виду перехода П. Б. на нелегальное положение эмигранта, прекратилась непосредственная корреспонденция между нами. Не помню, когда появился первый номер «Освобождения», и когда этот журнал впервые дошел до меня. Летом 1902 г. мой брат М. Л. Франк, живший в Мюнхене, написал мне в иносказательной форме, что П. Б. приглашает меня приехать заграницу, чтобы сотрудничать в журнале. Я собрался выехать осенью, но по некоторым личным обстоятельствам (директор только что основанного петербургского Политехнического Института А. С. Посников, заинтересовавшись моей книжкой о Марксе, пригласил меня приехать в Петербург и завел со мной переговоры о подготовке к профессуре по политической экономии в Институте; проект этот не осуществился) я задержался в Петербурге и только ранней весной 1903 года выехал заграницу. Примерно в марте 1903 г. я приехал в Штуттгарт; П. Б. встретил меня на вокзале и повез к себе, в предместье Гайсберг, где он жил с семьей и где помещалась редакция «Освобождения». П. Б. занимал особняк, имевший прежде какое-то казенное назначение (не помню — не то школы, не то сельской мэрии). Как сейчас помню впечатления от дома и семейной обстановки. В большом зале, служившем столовой, на столе сидел годовалый младший сынушка П. Б., Лева (позднее, 26-летним талантливым юношем-экономистом, скончавшимся от чахотки в Да-восе); навстречу мне вышла, как всегда сияющая лаской и приветом, Нина Александровна, и меня окружили трое старших мальчиков, в возрасте от шести до трех

лет. Помню ужин с оживленной беседой, редакционный кабинет П. Б., заваленный книгами и бумагами, скромную, почти убогую обстановку квартиры и настроение непрестанного горения мысли, идеиного оживления и редакционных текущих забот, наполнявшие всю жизнь П. Б. и Н. А. У меня, привыкшего и склонного по темпераменту к тишине и уединенному покою, кружилась голова от захватившего меня здесь вихря разговоров, прений, от многообразия обсуждавшихся тем и непрерывной суэты редакционных дел. Но вместе с тем я сразу окунулся в атмосферу какого-то особого уюта, пронизывавшего эту лихорадочно-спешную, суэтливую жизнь — незабываемой, своеобразной духовной прелести русской интеллигентской семьи, живущей дружной напряженной идеиной работой. Меня поселили в нижнем этаже дома, и каждое утро третий сынок П. Б., тогда трехлетний Котя (Константин) — ныне иеромонах Савва — прибегал будить меня, причем, не умея произнести моего имени и отчества, сократил то и другое на имя «Нюнич», которое стало с того времени неизменной моей кличкой в семье Струве. Я прожил у П. Б. неделю или две; с этого моего приезда началась личная, интимная дружба между нами (соучастницей которой была и Н. А.) — дружба, не прекращавшаяся в течение всей нашей жизни. В течение 40 лет, отделяющих эти дни от кончины Н. А. и П. Б., мы расставались часто на многие годы, однажды на несколько лет, довольно существенно разошлись по политическим взглядам, но взаимная любовь, внутреннее понимание и духовная связь никогда не прекращались. Не могу в точности вспомнить содержание всех бесед, которые я вел в эти дни с П. Б. — темы их были многообразны, и я вновь имел сильное впечатление от энциклопедической разносторонности знаний и интересов П. Б. Помню, что эти беседы, как и книги, которыми обильно снабжал меня П. Б. из своей библиотеки.

лиотеки, чрезвычайно расширили мое политическое образование, в особенности в области новейшей политической истории России: по указанию П. Б., я прочитал тогда замечательную переписку Герцена с Тургеневым и Кавелиным, статьи Герцена в «Колоколе», сочинения Драгоманова и впервые узнал подробнее историю так называемой «лорис-меликовской конституции» — события конца царствования Александра II и начала царствования Александра III. Запомнилось также поразившее меня тогда указание П. Б., что убийство Александра II — Царя-Освободителя — революционерами было гибельной ошибкой и имело значение трагической катастрофы в политической истории России (мысль, совершенно новая по тогдашним понятиям радикальной среды, в которой принято было прославлять, как подвиг, это убийство). Одновременно беседы касались и теоретических философских вопросов, причем П. Б. решительно отстаивал права метафизики, основанной на восприятии внутренней духовной реальности личности, тогда как я, будучи в то время сторонником кантианского «критицизма», склонялся видеть в начале «я» только предельное «трансцендентальное понятие». Кажется, тогда же П. Б. обратил мое внимание на забытого (в России вообще мало известного) немецкого философа Лотце, которого он высоко ценил, и заставил меня прочитать его «Логику» и «Метафизику». Когда я уезжал из Штуттгарта, П. Б. вместе со мной поехал в Мюнхен (не знаю, по каким именно делам). Помню, что я чувствовал себя очень польщенным, когда он сказал встретившему нас (умомянутому мною выше) д-ру Эпштейну про меня, что у меня есть «хорошие идеи».

С этого времени и в продолжение полутора лет, до осени 1904 г., когда я вернулся в Россию, мои встречи с П. Б. были так часты и наше общение, личное и письменное, столь непрерывно, что оно сливаются

в моей памяти в одно сплошное целое, и запомнились лишь отдельные эпизоды из него. Проведя лето 1903 г. на итальянских озерах и в Венеции, я с осени поселился в Мюнхене, и за эти полтора года деятельно сотрудничал в «Освобождении» (а также в приложении к нему — в «Книжках Освобождения»). Сотрудничество это было двоякого рода. От времени до времени я писал всякого рода политические размышления или отклики на события времени по собственной инициативе; наряду с этим во время моих частых — почти ежемесячных — приездов в Штуттгарт к П. Б. я писал статьи на темы, им самим указанные (большинство моих статей носят подпись Н. К.). Общее впечатление моих приездов, затягивавшихся на неделю или больше, живо сохранилось в моем воспоминании. Вне их я жил уединенно и созерцательно, политика никогда не составляла главного содержания моей жизни, и я интересовался и занимался ею, т. е. соответствующим писанием, только исподволь и попутно. Я тогда находился в переходном состоянии моей жизни — перестал заниматься политической экономией и еще не нашел, а только искал иного пути, который позднее обрел в философском творчестве; текущая моя работа состояла в переводе с немецкого философских книг для издательства Д. Е. Жуковского (в тот год в Мюнхене я переводил «Прелюдии» Виндельбанда, которыми очень увлекался). Когда я из этого состояния внутренней сосредоточенности, уединения и медлительной мысли попадал при моих приездах в Штуттгарт в кипучую атмосферу деятельности жизни и интенсивного труда П. Б., я испытывал всегда впечатление точно от лечения сильно действующими, взвадривающими и вместе с тем утомляющими горячими ваннами. Этот контраст между общим моим тихим уединением и шумными беседами сразу на множество тем, спешной работой, бесконечным обилием

умственного материала, которым меня «заваливал» П. Б., создавал во мне некое умственное головокружение; я чувствовал себя неопытным и неумелым пловцом, брошенным в бурный стремительный поток и почти в нем тонущим. Я уезжал после недели жизни в атмосфере П. Б. умственно обогащенным, получившим духовную встряску, но и утомленным ею. Долго выдержать темп и полноту такой жизни я не мог, и часто во мне поднимался протест. П. Б., всегда чрезвычайно терпимый вообще и в принципе всегда готовый считаться с своеобразием и потребностями чужой личности, — в общественной работе, в силу своего горячего темперамента, часто становился нетерпимым и деспотически требовательным; так как он дорожил — я склонен думать, без достаточного основания — моим сотрудничеством, то он и беспощадно требовал его от меня, как моего долга; на этой почве у нас бывали не то что столкновения, а трения. Особенного напряжения достигло это мое двойственное отношение к совместной с ним работе с момента объявления Русско-японской войны в январе 1904 г. В самый день объявления войны он позвонил мне в Мюнхен по телефону с коротким безапелляционным приказом: «Началась война. Приезжайте немедленно». Прямо с вокзала в Штуттгарте он повел меня в кафе с газетами, заставил перечитать десятки газет, сделать выписки, и засадил за обзор европейской печати по делам войны. Моя голова с трудом вмещала то бесконечное множество сведений, которые я должен был спешно воспринять, переварить и изложить. После немногих опытов такой работы я вынужден был от нее отказаться. Меня тогда особенно поразило, по контрасту с моим собственным умственным складом, то, что меня всегда поражало в П. Б.: какая-то поистине богатырская его память, умение удержать в голове и точно помнить бесконечное количество мел-

ких фактов, без всякого обременения, а с сохранением полной ясности и свежести мысли. Общественное настроение П. Б. было — как и у нас всех тогда, — тем, что позднее было названо «пораженчеством». Мы слишком верили в государственную мощь России, в незыблемость устоев русской государственности, чтобы опасаться за судьбу России, — и именно поэтому желали военных неудач, как импульса к политическим реформам. Помню, позднее, после цусимской катастрофы, П. Б. с свойственной ему меткостью слова выразил это отношение; он сказал: «Я дрожал от радости: и именно в этом сознании чувствовал себя истинным патриотом». Одновременно с «Освобождением» издавалась Плехановым и Лениным (пока не произошел раскол на «большевиков» и «меньшевиков») социал-демократическая газета «Искра», и между ней и «Освобождением» завязывалась полемика, в которой я принимал участие.

Я не пишу здесь истории журнала «Освобождение» и связанного с ним политического движения, а только упоминаю из нее факты, имеющие отношение к моему общению с П. Б. Обычно, главным образом, летом в эти годы (1903-05) к П. Б. приезжали из России его политические единомышленники; вспоминаю приезд Д. Е. Жуковского и С. Н. Булгакова. Слышал я, что программную политическую статью в 1-ом номере «Освобождения» написал П. Н. Милюков и что в числе сотрудников журнала были И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев, В. Г. Короленко, С. А. Котляревский, — других не упомню. Особым событием выделяется состоявшийся летом 1904 г. «Съезд Освобождения», на котором если не был основан, то окончательно оформленся «Союз освобождения» (личный состав которого, за исключением отколовшейся более радикальной группы, составил основу возникшей в октябре 1905 г. конституционно-демократической пар-

тии). Этот съезд состоял из двух последовательных совещаний. Сначала съехалась в Штуттгарте небольшая группа ближайших единомышленников П. Б. — из «интеллигентов» и так называемого «третьего элемента»; в числе их я помню С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева (с которым я тогда впервые познакомился), В. Я. Богучарского, С. Н. Прокоповича, Е. Д. Кускову, Б. А. Кистяковского. В интересах конспирации, это совещание было бродячим. В течение нескольких дней мы совершили частью по железной дороге, частью пешком путешествие по Шварцвальду, начиная с Оффенбурга, ежедневно ночуя в другом городке и за-седая в ресторанных залах. Помню один перевал при прогулке пешком, где мы среди живописного горного пейзажа устроили привал и обсуждали приемлемые для России условия мира с Японией. Я ночевал в этом путешествии обычно в одной гостинице с П. Б. и Н. А., и мы часто беседовали (не только о политике) до поздней ночи. Кажется, в конце этого предварительного совещания мы маленькой группой в пять человек — П. Б., Н. А., Н. А. Бердяев, В. Я. Богучарский и я — провели день отдыха в Триберге в Шварцвальде и там снялись на фоне водопада (карточка эта у меня сохранилась). Главной целью этого совещания было — подготовиться к встрече и объединению на съезде в собственном смысле нас, «интеллигентов», с земцами-либералами, которых мы тогда воспринимали, как общественно и политически несколько иную группировку. Этот съезд состоялся в Констанце, где, помню, в условленном месте нас уже ждали И. И. Петрункевич и его жена Анастасия Сергеевна и в соседних городах, на границе Германии и Швейцарии (помню из них Шаффгаузен, где большинство из нас ездило смотреть водопад и даже на лодке подъезжало к скале посреди водопада). Из участников съезда помню, кроме уже упомянутых, С. А. Котляревского,

П. И. Новгородцева, Н. Н. Львова; было и изрядное число земцев, имен которых не могу вспомнить. Объединение «интеллигентов» с «земцами» на общей платформе состоялось, в общем, довольно мирно и легко; общее впечатление было, что более умеренные «земцы» довольно быстро сдавались более радикальным элементам. Помню, что речь Н. Н. Львова, возражавшего против прямолинейного применения демократических принципов и утверждавшего тезис «все для народа, но не все через народ», потонула во всеобщих заявлениях преданности демократическим началам. Помню также, что П. Б., который в то время, по сравнению с земцами, был скорее «радикалом» (хотя в силу присущей ему широты и свободы мысли, его идеи и тогда не вмещались в рамки господствующего банального радикализма), защищал систему однопалатного представительства и называл институт верхней палаты — «просто свинством». Подлинное разногласие между умеренными и радикальными сказалось лишь позднее, после революции 1905 г., но тогда личный состав обеих группировок и самый принцип разделения был уже совсем иной: от «освобожденцев», образовавших конституционно-демократическую партию, отделились социалистически настроенные элементы: С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, В. В. Хижняков и др. К тому времени П. Б. находился уже на правом крыле самой конституционно-демократической партии.

Тем же летом 1904 г. П. Б. и Н. А. провели несколько недель в Шварцвальде, в санатории в деревне Alpirsbach, и я приехал туда пожить с ними. Эти дни памятны мне, как новый этап в нашем личном, интимном сближении. Когда П. Б. освобождался от забот и хлопот редакционной и политической деятельности — что он позволял себе очень редко — в нем пробуждалась или, точнее, обнаруживалась другая

сторона его существа — его непрерывная внутренняя, ду х о в на я активность. Это столь редкое сочетание: целиком, без остатка отдаваться общественному служению, с неизбежными при этом суетой, рассеянием, погруженностью в мелкие, текущие внешние дела и заботы, и одновременно уметь сохранить в себе духовную жизнь, сознательно жить в отрешенной глубине и размышлять о задачах и смысле этой личной внутренней жизни — составляло вообще своеобразие его богатой натуры, которым он напоминал — *toutes proportions gardées* — тип Гёте. Этой второй стороной своего существа он привлекал меня и влиял на меня еще больше, чем своими научными и политическими идеями. В эти дни в Alpirsbach мы вели многие задушевные беседы на интимные вопросы личной духовной жизни (при постоянном участии Н. А.). Запомнилась мне цитированная им мысль Гёте: надо уметь так формировать свою жизнь, чтобы она сама была гармоническим художественным творением (*das Leben muss als Kunstwerk gestaltet werden*). Этим вниманием к внутренней духовной стороне жизни П. Б. резко выделялся от обычного типа тогдашнего русского интеллигента, который тонул во внешней общественной деятельности, утрачивая в ней всякую личную глубину, и даже считал чем-то вроде недопустимой «буржуазной» роскоши интерес к ней. И с другой стороны, строгостью нравственного отношения к себе, сознанием обязанности аскетического служения общественной правде П. Б. столь же резко отличался он народившегося после 1905 г. типа развращенного, морально-бездейного эстета. Теперь, после кончины П. Б., обозревая всю его жизнь, можно смело сказать, что в своем беспрерывном скитальчестве, всегда влекомый политическим водоворотом в России (а под конец и в Европе), он сумел выполнить этот приведенный им тогда завет Гёте: его жизнь

от начала до конца есть нечто целостное, проникнутое единой идеей, единым пафосом — подлинное «художественное творение».

К этим же дням относится один запомнившийся мне забавный эпизод политического разговора П. Б. с немецким пастором за обеденным столом в санатории. Пастор, заговорив о наших неудачах в войне с Японией, умиленно-благочестиво заметил, что в этой войне надо желать победы «кресту», на что П. Б. резко ответил: «Да, но еще неизвестно, на чьей стороне здесь находится крест». Оторопевший от этих скандальных для него слов, пастор поспешил ретироваться и попытался задобрить П. Б. фразою: «В ваших нынешних огорчениях вы имеете все же утешение — у вас родился наследник престола» (немецкие газеты в то время захлебывались от типично-немецкого бескорыстного монархического упоения, описывая рождение цесаревича Алексея). Эффект получился неожиданный: П. Б. вспыхнул и, нервно швырнув салфетку, еще более резко ответил: «Утешение ли это или нет — это мы узнаем через 25 лет». Растревявшемуся пастору ничего не оставалось, как прекратить разговор со словами: «Ах, вы так нервны!»

Здесь же я должен упомянуть о другом, на этот раз общественном скандале, который П. Б. учинил примерно в то же время. С начала японской войны П. Б. издавал, в приложении к журналу, еще особые «Листки Освобождения». В одном из них он напечатал свое обращение к студентам по поводу начавшихся тогда уличных студенческих манифестаций. В нем он советовал студентам, когда их будут разгонять, встречать войска криком: «Да здравствует армия!» Этот, по существу политически весьма разумный совет, был, по тогдашним понятиям радикальных кругов, не только неуместным, но просто скандальным: солидаризация с армией казалась тогда только при-

знаком «черносотенства». По возвращении моем в Петербург осенью 1904 г., тамошние «освобожденцы», друзья П. Б., рассказывали мне, как это обращение к студентам скандализовало радикальное общественное мнение, так что они вынуждены были принять меры к уничтожению листка. Всего через 10 лет, когда вспыхнула русско-немецкая война, общественное настроение в этом отношении радикально изменилось: радикализм, отчасти искренне, отчасти по тактическим соображениям, без колебаний, объявил себя солидарным с патриотизмом; и известно, какую решающую роль сыграло в революции 1917 г. настроение патриотической оппозиции. Как и во многих других случаях своей политической публицистики, П. Б. оказался здесь пророком, предвосхитившим правду и именно за это побиваемый камнями.

Осенью 1904 г., после полуторагодичного сотрудничества с П. Б., я вернулся в Петербург. Это была предреволюционная зима — эпоха «банкетной кампании»; тогда же в Петербурге состоялся секретный съезд «Союза Освобождения». Нормальная переписка с П. Б. была невозможна. Я получал довольно аккуратно в конвертах номера «Освобождения», печатавшиеся для пересылки в Россию на папиросной бумаге (другое издание, для продажи в Европе, печаталось на плотной бумаге, с обложкой кирпичного цвета), иногда в «почтовом ящике» «Освобождения» были сообщения для меня под кличкой «Скороходу» (происхождение этой клички таково: я ходил в юности по моим понятиям очень быстро и ставил себе даже спортивную задачу обгонять всех шедших впереди меня, но я никак не мог угнаться за П. Б. и Н. А., которые ходили почти бегом, они насмешливо прозвали меня «Скороходом»). Однажды я получил от них с оказией какое-то конспиративное зашифрованное послание, зашитое в галстуке, и в придачу еще

коробку конфет. (Н. А. любила посыпать друзьям конфеты. Крупская в своих воспоминаниях рассказывает, что когда Ленин и она окончательно разошлись со Струве, она получила на прощание от Н. А. коробку конфет). Я сам писал им эту зиму письма изменившимся почерком по условленному адресу — больше с сообщениями политического содержания. Весной 1905 г. я снова поехал заграницу. Я задумывал тогда книгу по «Социальной психологии» — науке, мною самим намеченной и составлявшей в моем умственном развитии естественное звено между моим юношеским изучением политической экономии и новым интересом к философии. Решив заняться собиранием материала для этой книги, я поехал в Гейдельберг, записался в университет на летний семестр и тотчас же по приезде в Гейдельберг написал П. Б. — он тогда уже перенес издание «Освобождения» в Париж — что, занятый научной работой, я не могу приехать к нему и принимать деятельное участие в «Освобождении». П. Б. ответил мне, что хорошо понимает меня и отнюдь не настаивает, но просит меня по исклю- чительным обстоятельствам все же приехать немедленно на короткий срок. Заинтересованный, я счел себя вынужденным последовать этому зову и поехал в Париж. Редакция «Освобождения» и семья Струве помещались тогда в Passy, в уютном двухэтажном особняке, 14, rue Bellini (эта уличка перерезывается теперь недавно проложенной Avenue Paul Doumer, и дом № 14 снесен). После приветствий и первого обмена впечатлениями и мыслями я спросил П. Б., зачем собственно он меня вызвал, на что последовал простой ответ, в тоне самоочевидной вразумительности: «Н а д о ж е н о м е р с о с т а в л я т ь». Рассердиться на П. Б., прилагать к нему обычные мерки и оценки было для меня невозможно: я сразу почувствовал, что с его стороны не было

ни малейшего умысла ввести меня в заблуждение и хитростью заставить меня приехать; просто, одержимый в момент писания письма ко мне мыслью о ближайшем номере «Освобождения», он искренно воспринимал эту заботу как «исключительное обстоятельство». Никакой безотлагательной нужды в моем приезде не было, и никакой особой помощи я, помнится, ему не оказал: проведя неделю в беседах с ним и Н. А., осмотрев достопримечательности Парижа (который я видел тогда впервые) и даже побродив однажды с П. Б. под руководством жившего тогда в Париже А. В. Винберга (сына известного крымского земского деятеля) по ночному Монмартру, я вновь уехал в Гейдельберг. По окончании летнего семестра в августе я снова поехал к Струве, на этот раз в Бретань, на берег океана, где они поселились в рыбачкой деревне St. Cast, около St. Malo. (Там же жила подруга детства Н. А., А. В. Тыркова, позднее Вильямс, с детьми, и корреспондент «Русского Богатства» из Франции Русанов). Эти каникулы с морским купаньем и прогулками по скалистому берегу среди особого очарования ярких цветов северного колорита остались у меня в памяти, как новый этап моего сближения с П. Б. и Н. А. П. Б. я узнал с новой стороны: он был в исключительно благодушно-беззаботном настроении, наслаждался отдыхом и с увлечением поглощал устриц; политические и литературно-редакционные заботы и волнения были временно забыты; беседы касались больше философских тем. С Н. А. (беременной младшим, пятым ребенком) мы читали вместе на берегу моря романы Анатоля Франса и вели задушевные беседы. Окружавшая нас шумная толпа ребят (четверо детей Струве и двое детей Тырковой) усугубляли веселье. Осенью я вместе со Струве вернулся в Париж, поселился рядом с ними, на rue de la Tour, проводя целый день в их квартире.

Наряду с редакционной работой, мы задумали тогда написать совместно книгу по «Философии культуры», в которой должны были быть выражены основные общественно-философские идеи, к которым мы совместно пришли в то время (мы формулировали тогда нашу веру так, что определяющим началом ее было несколько неопределенное понятие «духовной культуры», во всем многообразии ее содержания). Мы оба начали одновременно писать вступительную главу этой книги; каждый писал в отдельности, мы читали друг другу написанное и сводили его в одно целое; споров по содержанию у нас не было, хотя и не легко было согласовать два весьма разнородных стиля и писательских темперамента. Остальное содержание задуманной книги — которое я теперь уже не помню — было распределено по главам между нами. Но эта работа так и остановилась на вступительной главе (напечатанной в 1906 г. в двух номерах «Полярной Звезды»); она была прервана сперва моим внезапным отъездом (я был вызван телеграммой в Москву из-за болезни моего отчима), а потом октябрьской революцией 1905 г., закрутившей П. Б. в новом вихре политической и публицистической деятельности.

Из этой последней эпохи заграничной жизни П. Б. — лета и осени 1905 года — я вспоминаю еще два эпизода политического содержания. Однажды в Париже прислуга сообщила П. Б., что пришли два иностранца, желающие с ним говорить; из гостиной, в которой он их принял, до нас доносились звуки короткого разговора и громкий голос П. Б., после чего посетители сразу ушли, и мы застали П. Б. у входной двери возбужденным и яростно крутящим ключ, чтобы особенно основательно запереть дверь. Вот в чем было дело: какой-то английский журналист привел к П. Б. японца, которого хладнокровно представил как шпиона; оба сделали П. Б. предложение, чтобы он

делился с японцем сведениями, получаемыми из России. Очевидно, они полагали, что оппозиционное политическое настроение П. Б. и его отрицательное отношение к войне дают им возможность сделать ему это предложение. Ответ П. Б. был короток и вразумителен. Он состоял из слов: «Это и глупо, и подло» и из повелительного жеста, указующего посетителям на дверь. После их ухода он лишь с трудом пришел в себя от волнения. Другой эпизод состоял в посещении П. Б. бывшим священником Гапоном, который после известного, организованного им шествия к царю 9-го января, закончившегося кровавым расстрелом манифестантов, бежал заграницу. О нем уже тогда ходили (позднее подтвердившиеся) слухи, что он был провокатором. Гапон, в штатском платье, с подстриженной бородкой, с бегающими, беспокойными глазами — я с трудом узнал в нем того священника, которого видал в Петербурге накануне 9-го января — пришел к П. Б. просить сообщить ему имена и адреса его единомышленников и политических друзей в России, якобы для помохи при замышленном Гапоном возобновлении его деятельности. Личность Гапона была более, чем подозрительна — в его лице было нечто столь отвратительное, что, помню, я не выдержал (беседа велась в моем присутствии) и ушел из комнаты во время разговора. П. Б. под благовидным предлогом, конечно, отказался дать просимые имена и выпроводил Гапона. Этот эпизод имел для меня еще последствие. Обычно, я возвращался в Россию после вполне открытого общения с П. Б. совершенно беспрепятственно; полицейской слежки за П. Б. или вообще не было, или она велась весьма небрежно. На этот раз при переезде через границу таможенный чиновник вызвал меня по имени, спросил куда я еду, и велел солдату особенно тщательно обыскать мой багаж. Я не сомневаюсь, что Гапон сообщил мое имя, как лица, встреченного им у П. Б.

### **III. РЕВОЛЮЦИЯ 1905 Г. И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П. Б. СТРУВЕ В 1905-07 ГГ.**

На этом кончается эпоха первого эмигрантства П. Б. и нашего общения заграницей и начинается новая, более длительная эпоха нашей совместной работы в России (она продолжалась почти беспрерывно двенадцать лет, с октября 1905 г. по конец сентября 1917 г., когда я переселился в Саратов, а П. Б. вновь начал свою странническую жизнь). Когда я в сентябре 1905 г. покинул П. Б., я не ожидал, что мне суждено так скоро снова с ним встретиться. Но 17 октября 1905 г., узнав из газет о манифесте, вводящем в России конституционный строй, П. Б. со свойственной ему неукротимой активностью выехал из Парижа в Россию, хотя в этот же день у него родился младший сын Аркадий, и он покидал Н. А. в самый день родов. Он собирался, как он потом мне рассказывал, проехать в Россию под чужим паспортом, но уже по пути, именно в Берлине, узнал, что ему дарована амнистия. Помню, при первой встрече, сам радостно возбужденный от сознания, что вижу его вновь в России, я спросил его, как он переживает свое возвращение на родину. Он рассеянно ответил: «Никак» — он уже был полон новых забот и тревог о судьбе России. Он вообще всю жизнь как-то лихорадочно жил будущим, смотрел вперед и лишь в редчайших случаях умел сосредоточиваться на мгновении настоящего. Он сразу же, с первых дней «свобод», встал в оппозицию к русскому революционному движению, остро осознал

опасность и гибельность русского политического максимализма и разнудзания злых, насильнических страстей народных масс — словом, выражаясь жаргоном радикализма, стал «реакционером». Тогдашний премьер Витте в одном из своих обращений к обществу ссыпался на суждение П. Б., обличавшего анархические тенденции русского социализма. Эпоха 1905-06 гг. была вообще временем, когда впервые обнаружились признаки, впрочем еще весьма слабые и робкие, «поправления» русской либеральной интеллигенции; так, либеральная профессура, прежде всегда восторгавшаяся всякими политическими манифестациями молодежи, сознала тогда гибельность студенческих забастовок и беспорядков, и начала впервые идеинно бороться с ними. Но политическое настроение П. Б. было гораздо глубже и принципиальнее этой, в общем слабой и неуверенной, реакции общественного мнения на явления революционной анархии. И в плане практически-политическом, и в плане общих социально-политических и социологических воззрений, он тогда же сразу отчетливо осознал, что свобода личности и свободное развитие культуры и государственности требуют уважения к правовому порядку, т. е. обуздания анархически-революционных страстей и стремлений к радикальным насильственным переворотам. Идеи, позднее, в 1909 г. выраженные группой русских мыслителей в «Вехах» — этот принципиальный вызов традиционному русскому интеллигентскому миросозерцанию с его нигилизмом и революционизмом — впервые были осознаны П. Б. не позднее октября 1905 г.

В только что основанную конституционно-демократическую партию, куда влилась русская либеральная интеллигенция, П. Б. вступил не без колебаний, после долгих и сложных переговоров с ее лидером П. Н. Милюковым, и занял позицию на ее правом

крыле. Он поэтому не участвовал в органе партии, газете «Речь», основанной Милюковым и И. В. Гессеном, а стремился создать себе орган собственной политической мысли. Я сам, ни в малейшей мере не будучи практическим политиком, не чувствуя ни призыва, ни охоты заниматься политической деятельностью, лишь в общей форме был ориентирован в этой стороне жизни П. Б. Отмечу только центральный пункт его политической установки того времени, отчетливо запечатлевшийся в моей памяти в его отличии от намеченного Милюковым официального курса партии. Милюков в самый день опубликования манифеста 17 октября 1905 г. провозгласил (на учредительном съезде кадетской партии в доме князей Долгоруких в Москве) лозунг: «Мы одержали победу, но по существу ничто не изменилось, наша борьба и наш политический курс остаются прежними». При всей моей политической неопытности и неспособности, это заявление меня смущило и удручило: я смутно чувствовал, что тут что-то неладно, именно, что огромный принципиальный переворот все же совершившийся, остался неучтенным. Линия Милюкова соответствовала общему настроению интеллигенции: считалось хорошим тоном попрежнему яростно бранить правительство, несмотря на его либеральный курс, и солидаризироваться с революционерами. П. Б., напротив, сразу стал на прямо противоположную точку зрения; он утверждал, что с введением конституционного строя, как бы несовершенен он ни был, не только должны радикально измениться методы политической борьбы, именно став открытыми и легальными, но открылась возможность положительного сотрудничества либеральных слоев общества с правительством в деле реформы. Я сам не сразу усвоил эту, как я теперь сознаю, единственно правильную позицию и оставался «левее» П. Б. У нас была по этому

вопросу дружеская полемика на страницах «Полярной Звезды», о которой дальше, по поводу напечатанной в ней резкой статьи экономиста А. А. Кауфмана против революционных партий.

Политическими друзьями П. Б. были в то время В. А. Маклаков и более умеренные земцы-либералы (например, Н. Н. Львов), более или менее уклонявшиеся от политического курса Милюкова. Меня лично интересовала всегда не столько практическая, сколько принципиальная сторона политических идей и движений. Когда П. Б. той же осенью задумал издание нового для России типа журнала — политического еженедельника, издаваемого в форме тетрадок небольшого формата со статьями принципиального политического содержания — он пригласил меня вместе с ним составить редакцию. Журнал осуществлялся в декабре того же года под названием «Полярная Звезда» (в память одноименных изданий декабристов и Герцена). Он просуществовал до лета 1906 г. (запрещенный однажды за какую-то статью, он в последний период своего существования выходил под названием «Свобода и культура», причем, ввиду необходимости смены редактора этого нового варианта того же журнала, фигурировало мое имя, с прибавлением: «при ближайшем участии П. Струве»). Журнал этот (в издании Пирожкова) имел, как новинка, довольно значительный успех, хорошо продавался газетчиками на улицах и вызвал несколько подражаний. Он закончился около июня, примерно одновременно с распуском Первой Государственной Думы.

Но в тогдашней атмосфере бурной политической жизни издание одного только политического еженедельника не удовлетворяло кипучей активности П. Б. Он задумал ко времени открытия Государственной Думы, в апреле 1905 г., издание большой газеты. Его репутация, как бывшего редактора «Освобождения»,

была так велика, что за дело взялся известный издатель И. Д. Сытин. Сытин был замечательным русским типом: малограмотный (кажется, почти в буквальном смысле) крестьянин, он, благодаря своему коммерческому гению и общественному «нюху», сумел создать большое издательство для народа и первую в России влиятельную политическую газету, приспособленную к вкусам широких масс («Русское Слово») и нажить на этом большой капитал. Он щедро финансировал задуманную П. Б. газету «Дума», которая должна была выходить — новинка в России — как большая серьезная в е ч е р н я я газета, по образцу французской газеты “*Temps*”; кажется, в первый и последний раз в своей жизни П. Б. получал сам большое редакторское жалованье и мог набрать целый штаб сотрудников из видных публицистов и политических деятелей, оплачиваемых, кроме построчной платы, ежемесячным жалованьем. Со своимственным ему рвением он принялся за дело (оставив на меня одного редакцию «Полярной Звезды»). Помню, что часто по вечерам, после целого дня утомительного труда, он вскакивал с дивана, на который ложился отдохнуть, и с возгласом: «надо добывать материал для газеты» убегал из дома, чтобы самому объездить своих сотрудников и побудить их к писанию (у многих из них, в те времена еще не было телефона). Газета эта была полной неудачей и кончила свое существование через несколько недель. П. Б., обладая сам замечательным дарованием журналиста и умением привлекать сотрудников и организовать их работу, по всему своему духовному складу был существом прямо противоположным типу успешного и умелого редактора газеты. Он не умел и даже не хотел приспособляться к вкусам массового читателя, был органически неспособен давать тот, рассчитанный на пошловатый и низменный обывательский вкус, газетный материал, без

которого газета не может иметь большого сбыта. Газета была поэтому скорее ежедневным альманахом интересных политических статей, чем подлинной газетой; составлять такой ежедневный альманах было делом мучительно-трудным — постоянно не хватало материала, и газета естественно не имела никакого успеха. Сытин, сначала так охотно пошедший навстречу П. Б., увидав, что терпит на ней убыток, сразу же ее прекратил, и притом в мужицко-грубой форме: в одно прекрасное утро П. Б., прия в типографию, был встречен лаконическим сообщением: «Иван Дмитриевич приказал прекратить печатание газеты».

Из этой же эпохи мне вспоминается один эпизод, ярко характеризующий своеобразную невнимательность П. Б., с которой его друзьям приходилось считаться и которая была обусловлена особой, присущей ему умственной «одержимостью», как бы непроизвольностью его в нутреннего внимания, его плененностью неким зоом, увлекавшим его с пути практически-разумного поведения. Мы оба были однажды чрезвычайно недовольны чем-то в поведении издателя «Полярной Звезды» Пирожкова и поехали к нему для решительного и сурового «объяснения» (о чем заранее его предупредили по телефону). Естественно, что в этом объяснении первую роль должен был играть П. Б.. И вот, к моему изумлению и отчаянию, войдя в кабинет Пирожкова, П. Б. взял в руки первую попавшуюся книгу, задумался над чем-то и замолчал; мне никак не удавалось растолкать его и напомнить ему о цели нашего визита. Из ожидаемого объяснения ничего не вышло: с трудом и вяло П. Б. проговорил несколько ничего не значущих слов, поставив этим нас обоих в самое глупое положение и даже не заметив этого.

Эта пора — примерно от января до мая 1906 г. — памятна мне снова, как дальнейший этап моего дру-

жеского сближения с семьей Струве. Н. А. приехала с детьми из Парижа в конце 1905 г., после ликвидации дел «Освобождения». Они сняли квартиру на Вознесенском проспекте около Екатерининского канала, в которой и помещалась редакция «Полярной Звезды». Я поселился поблизости, в Фонарном переулке, только ночуя дома и проводя весь день в семье Струве, занимаясь делами редакции и работая для се-бя; две комнаты редакции были по большей части в моем полном распоряжении — П. Б. находился в то время в постоянных бегах то по политическим делам, то по редактированию газеты «Дума» (редакция которой помещалась прямо в типографии — не помню какой). Приходило много посетителей из личных и политических друзей Струве: вспоминаю Ф. И. Роди-чева, В. Д. Набокова, экономиста А. А. Кауфмана, мол-лодого члена Думы Френкеля, В. А. Оболенского, М. В. Черносвитову-Хижнякову. Беседы мои с П. Б. касались в то время больше текущей политической жизни, ко-торой он был всецело захвачен. Укажу однако на факт, характеризующий его постоянную многосторонность: именно в эти дни лихорадочной политической суэты он вдруг увлекся поэзией Валерия Брюсова, прочитав поступивший в редакцию новый сборник его стихов «Стефанос» («Венок»), и написал о нем хвалебную статью в «Полярной Звезде» под ироническим названием в кавычках «Наше бездарное время». Этим завя-заялась личная связь его с Брюсовым, впрочем, кратко-временная; с 1910 года П. Б. привлек его к редакти-рованию беллетристического отдела журнала «Рус-ская Мысль», во главе которого П. Б. стал с конца 1906 г. (о чем — ниже), но вскоре же должен был от-казаться от его услуг, обнаружив, что Брюсов повел порученное ему дело умышленно недобросовестно: он поставлял в журнал недоброкачественный материал и устранил из него талантливых писателей. П. Б. жало-

вался на извращенность или «перверзность», как он выражался, натуры Брюсова (которая позднее так ярко обнаружилась в поведении Брюсова в самом же начале большевистского режима). — Этой зимой и весной 1906 г. я, можно сказать, стал членом семьи Струве; помню уютно-дружескую встречу нового 1906 года в их квартире; Н. А. подарила мне к этому дню томик стихов Тютчева, доселе у меня сохранившийся. С Н. А. я снова, как летом 1905 г. в Бретани, вел, часто до глубокой ночи, беседы и на темы политического мироизмерения — она еще долго упорствовала в своем интеллигентском радикализме, часто находилась в удрученном состоянии от «поправления» П. Б. и яростно спорила с ним, и мне приходилось утешать ее и служить политически-примирительным звеном между ними, — и на самые интимные темы и ее, и моей личной жизни. Мы все трое сошлись к тому времени так близко, что с осени 1906 г. я поселился в их квартире и прожил с ними целых два года, до лета 1908 г., когда я женился.

Эти два года 1906-1908 (первый год — на Таврической в доме сына Толстого, Льва Львовича, а второй — в двух смежных квартирах на Тверской — 23, из которых в одной помещалась Н. А. с детьми, а в другой — П. Б. и я) — образует опять новый этап в истории нашей дружбы, ставшей к тому времени нашей общей жизнью (кто-то из знакомых иронически называл ее зоологическим термином «симбиоза»). Обе стороны — и они оба, и я — хорошо сознавали, как много это значит, что чужой человек вошел в семью и стал ее членом — тем более, что, по характеру и темпераменту, я был натурай прямо им противоположной. Они оба были натуры кипуче-активные, волевые, проводившие жизнь в множестве дел и отношений к людям, я же всегда нуждался в уединении, покое, отрешенной созерцательной мысли.

Но за все эти годы не помню ни одного случая недоразумения с П. Б.; Н. А. иногда обижалась на меня, но эти размолвки проходили быстро и бесследно. Я был участником всей их жизни и вместе с тем проводил дни уединенно в моей комнате за чтением и размышлением. В это время — с января 1906 г. — я начал свою профессорскую деятельность, и Н. А. неизменно сопровождала меня вечером на извозчике на вечерние курсы при гимназии Стоюниной, на Кабинетской, тщательно записывала мои лекции (так же, как и курс П. Б. там же).

За эти два года, с осени 1906 по лето 1908 г., произошли приблизительно одновременно (точных дат я не помню, но их нетрудно восстановить) три существенных события в общественной, литературной и научной деятельности П. Б.; их совместность характеризует многосторонность его натуры и активности. Кажется, уже в конце 1906 г., П. Б. был приглашен редактировать — совместно с А. А. Кизеветтером — московский толстый журнал «Русская Мысль» (с 1910 г. он стал его единоличным редактором-издателем). В течение той же зимы 1906-07 гг. П. Б. был привлечен к чтению лекций — сначала на правах преподавателя и штатного доцента, а после защиты магистерской диссертации, — экстраординарного профессора — в Петербургском Политехническом Институте. И наконец, в то же время, он был выставлен конституционно-демократической партией кандидатом от Петербурга в члены Второй Государственной Думы и был избран — помнится, ранней весной 1907 г. — депутатом. Так как первые две деятельности — редактирование «Русской Мысли» и профессура в Политехническом Институте — продолжались беспрерывно более 10 лет, вплоть до октябрьской революции 1917 г., то я расскажу сначала об этой третьей,

чисто политической его деятельности в эпоху 1906–07 гг.

Я уже упоминал, что П. Б. — как иначе и не могло быть — со всей страстью своего существа был захвачен политическим возбуждением того времени. С самого момента своего возвращения в Россию в октябре 1905 г., он был членом Центрального комитета конституционно-демократической партии и участвовал едва ли не ежедневно в бесчисленных политических совещаниях, официально-партийных и более конфиденциальных, того времени, а также в избирательных митингах по выборам в Первую Государственную Думу. Весной 1906 г. он участвовал во втором — первом открытом — съезде конституционно-демократической партии, происходившем в Петербурге в большом зале Тенишевского училища и читал на нем доклад — не помню о чем. (Во время первого, учредительного, еще не публичного съезда партии в Москве в октябре 1905 г. он был еще заграницей). Он не обладал избирательным цензом при выборах в Первую Государственную Думу (этот ценз состоял в длительном проживании в определенном месте, а П. Б. только что вернулся из заграницы) и потому не мог быть избранным в нее, но, конечно, деятельно участвовал в закулисной политической работе и уже к тому времени приобрел в кадетских кругах репутацию «правого» оппозиционера, и безответственного учинителя политических «скандалов», так как в своих суждениях никогда не считался с господствующими идеями либерального общественного мнения. Он резко критиковал в частных беседах линию поведения Милюкова и, следовательно, руководимой им партии в течение первой сессии Думы. Помню, в беседе со мной, он охарактеризовал роль Милюкова в известных переговорах того времени о вхождении представителей кадетской партии в состав правительства.

ва необычайно резкими для него словами: «хищное властолюбие и политическая бездарность». После распуска Первой Думы он поехал вместе с депутатами-kadетами в Выборг, присутствовал при составлении знаменитого «выборгского воззвания» (призыв членов Думы к населению не платить налогов и не идти в солдаты, ввиду якобы незаконности распуска Государственной Думы; это последнее утверждение было явной и для всех очевидной натяжкой и даже ложью, утверждаемой только по «тактическим соображениям»). С присущей ему страстью он не только доказывал неизбежность провала этого воззвания, но и утверждал, что оно было не чем иным, как «пропагандой идеи государственного переворота» (мысль, уже через год — после распуска Столыпиным Второй Государственной Думы — оказавшаяся пророческой). При этих условиях было естественно, что кандидатура П. Б. в члены Думы могла быть выставлена партией только *faute de mieux*, в положении «крайней необходимости»; это положение представилось, когда «kadеты», члены Первой Думы, находившиеся под судом за составление «выборгского воззвания», были лишены пассивного избирательного права. Как указано, П. Б. прошел при выборах по Петербургу (из других kadетов, избранных по Петербургу во Вторую Думу, помню И. В. Гессена). Во время избирательной кампании он неоднократно выступал на митингах; он совсем не был митинговым оратором и не имел успеха — за исключением отдельных случаев, когда он не готовил заранее речи, а выступал с импровизацией, вдохновленный негодованием и политической страстью. Один такой случай, свидетелем которого я был, мне хорошо запомнился, как характерный для натуры П. Б. Я поехал с ним на митинг партии «октябристов» (более правых умеренных либералов, только поневоле принявших защитный цвет «консти-

туционалистов»). П. Б. не любил их не за их «правизнус», а ощущая их неискренность, отсутствие в них политической правдивости, мужества и праведного негодования на грехи старой бюрократии. По прибытии в зал, П. Б. подал записку о своем желании говорить, и руководители митинга тотчас же любезно предложили ему выступить вне очереди, на что П. Б. ответил, что он предпочитает дождаться своей очереди. В конце митинга он, взойдя на эстраду, произнес, или скорее, возбужденно прокричал только несколько слов. «Мы требуем конституционного порядка, — говорил он, — не потому, что начитались всяких умных книжек, а потому, что вот где, — и тут П. Б., покраснев от возбуждения, стал яростно хлопать себя рукой по затылку, — сидят у нас бюрократические порядки». Аудитория была сразу заражена этим взрывом наболевшего чувства, и эти немногие слова произвели на нее большее впечатление, чем политические рассуждения октяристских руководителей митинга.

Я не помню выступлений П. Б. в общих заседаниях Государственной Думы; кажется, их совсем не было, или во всяком случае они были редкими и незначительными. Его основная работа проходила в комиссиях и особенно «в кулуарах». Вторая Государственная Дума, как известно, была совершенно неработоспособна; она состояла примерно на половину из крайних левых, которые не только не умели, но даже и не хотели законодательствовать, а пользовались Думой, как всенародной трибуной для безответственных агитационных речей. П. Б., как и другие лица с государственным сознанием, чувствовал себя в ней бессильным и изолированным. Он часто с негодованием говорил о недостойных сценах, в ней происходивших. Помню сцену, когда социал-демократ Зурабов поносил в своей речи русскую армию, обличая

ее в «трусости»; присутствовавший на заседании премьер-министр Столыпин поднялся и негодующе-умоляющим жестом руки воззвал к председателю Думы Головину, призывая его остановить оратора; Головин, который, как выражался П. Б., страдал «медлительностью апперцепции», только после перерыва сделал выговор оратору. П. Б. тогда принял участие в бурном протесте «правого» крыла Государственной Думы против этого выступления Зурабова. Помню также, что П. Б. однажды под величайшим секретом рассказал мне, что на места депутатов иногда проникали посторонние лица из публики и при голосовании поднятием руки даже принимали в нем участие. Глубоко разочаровавшись к тому времени не только в революционных кругах, но и в господствующем типе либеральных земцев, в которых он усматривал отсутствие ответственного государственного сознания, П. Б. начал возлагать надежды на наиболее одаренных и серьезных представителей бюрократии. Он говорил, что из русского дворянства более серьезные и ответственные люди шли в бюрократию, и лишь менее способные и ответственные наполняли ряды либеральной земской оппозиции. Он считал П. А. Столыпина настоящим государственным умом; в особенно критические дни Второй Думы он несколько раз в моем присутствии разговаривал с ним из своей квартиры по телефону и имел неоднократные свидания с ним; он питал надежду личным вмешательством уладить непрерывно нараставший конфликт между правительством и Думой. (Последнее такое свидание в те дни произошло в ночь перед распуском Государственной Думы, когда к Столыпину поехали четыре так называемых «черносотенных кадета»: П. Б., Маклаков, Челноков и С. Н. Булгаков. Как часто и позднее в его практической политической деятельности, эта попытка осталась безуспешной — что можно бы-

ло и заранее предвидеть, и что в глубине души сознавал вероятно и сам П. Б. Нечего и говорить, что его стремления были абсолютно бескорыстны; как и во многих других случаях своей общественной деятельности, П. Б. из чувства долга пытался искать спасения из безвыходного положения, вкладывая всего себя в это дело, не исчисляя шансов на успех и не думая о том, что он может скомпрометировать себя в общественном мнении.

На Пасху 1907 г. П. Б. разрешил себе короткие каникулы. Я к тому времени собрался, как обычно делал в те годы, провести весну и лето заграницей, и П. Б. решил сопутствовать мне в течение нескольких дней. Помню, мы выехали из Петербурга в самую пасхальную ночь (мы оба были тогда равнодушны к церковному быту) и ехали в почти пустом поезде. В Берлине, в квартире А. М. Калмыковой, мы имели свидание с входившим тогда в известность замечательным немецким философом Георгом Зиммельем, на которого (как и на многих других европейских мыслителей и писателей) П. Б. первый уже давно обратил внимание русских читателей, и тонкий, живой, скептический ум которого очень привлекал меня (в 1899-1901 гг. я слушал его лекции в берлинском университете). Зиммель, однако, в личной беседе разочаровал нас обоих своим типичным для немца, наивно-романтическим отношением к России, для которой он, как наши народники, мечтал об особом, «небуржуазном» пути культурного развития. Из Берлина П. Б. повез меня в маленький водолечебный курорт австрийской Силезии Грефенберг (в котором некогда лечился Гоголь); П. Б. был там с Н. А. вскоре после их женитьбы. Мы побродили с ним несколько дней по местным горным окрестностям, беседуя не на политические, а на многообразные общие темы, после чего П. Б. вернулся в Петербург. Заграницей я узнал

о роспуске Второй Думы и октроировании нового избирательного права. Когда я, проведя лето в Германии, а затем в русской деревне (в имении Хижняковых Кези, в Черниговской губернии), вернулся в Петербург и снова въехал в квартиру П. Б. (теперь уже на Тверской ул., д. 23, недалеко от Смольного монастыря), эпоха напряженной политической деятельности П. Б. уже кончилась (в последующие Думы он уже не избирался), и П. Б. всецело ушел в другую деятельность, о чем я упомянул выше — занялся профессурой в Политехническом Институте и редактированием «Русской Мысли». Но, приступая теперь к воспоминаниям об этих его занятиях, я должен уже сразу охватить период его жизни вплоть до 1917 года.



#### **IV. ПРОФЕССУРА И РЕДАКТИРОВАНИЕ «РУССКОЙ МЫСЛИ» (1907-1917 ГГ.)**

В замыслы личной жизни П. Б. — поскольку он вообще об этом думал, — насколько я знаю, не входило намерение быть «профессором». Будучи уже в юношеские годы, по своей огромной начитанности и по самостоятельности мысли, одним из самых выдающихся русских экономистов, он никогда не думал о «карьере» профессора, а оставался вольным писателем. Более того: по самой своей натуре он мало подходил к душевному типу «профессора». Поскольку наука составляла все же главное, определяющее содержание его многосторонних дарований и интересов, его натуре в гораздо большей мере соответствовало личное творчество и неутомимая исследовательская деятельность, чем систематическая, упорядоченная педагогическая деятельность. Чтение курсов лекций перед большой, обычно мало подготовленной аудиторией не было его сильной стороной, мало подходило ему; и видно было, что он при этом должен был как-то насиовать свою природу; обычно он не имел того «контакта» со слушателями, который есть основное условие лектора. В качестве «педагога», он скорее был призван быть личным наставником, действующим на учеников через живую беседу и личное общение. Поэтому на путь «профессуры» онступил не по внутреннему влечению, а скорее был вовлечен на него давлением извне. Русские профессора-экономисты, конечно, с самого начала его литературной деятельности высоко ценили его, и он имел среди

них много друзей. Естественно поэтому, что экономическое отделение петербургского Политехнического Института, основанного Витте в 1902 г. и находившегося еще в стадии своего формирования, решило привлечь его в свой состав. (Инициатива принадлежала тут А. А. Чупрову и В. Б. Ельяшевичу). Директор Института, экономист А. С. Посников, несмотря на то, что в качестве народника и убежденного защитника «общины» был идеальным противником П. Б., ценил его, как большую научную силу; а среди молодого преподавательского состава отделения он имел много почитателей (позднее он имел особенно тесное научное общение с выдающимся ученым статистиком А. А. Чупровым). В первые месяцы 1907 г. он начал чтение лекций, на правах преподавателя, в институте; его вступительная лекция, посвященная его пониманию предмета и задач политической экономии, была тогда же опубликована в «Русской Мысли». После сдачи в 1908 г. магистерского экзамена в Московском университете у А. А. Мануилова — этот экзамен, по знаниям и ученой репутации П. Б., был для него, конечно, пустой формальностью — он стал штатным доцентом, а после защиты в 1913 году магистерской диссертации («Хозяйство и цена», т. I) — экстраординарным профессором. В связи с этой своей деятельностью, П. Б. поселился с осени 1908 г. в Сосновке, поблизости от Института (другие профессора Института жили в казенных квартирах при Институте; для П. Б. такая квартира — огромное помещение во вновь отстроенном «третьем» профессорском доме — открылась только, если не ошибаюсь, с 1916 года). С 1913 г., именно с момента перенесения конторы «Русской Мысли» в Петербург — о чем сейчас же ниже — П. Б. жил в доме, где помещалась редакция, на Нюстадской ул. 6 на Выборгской стороне, вплоть до переселения в казенную квартиру в Сосновку в 1916 г.

О профессорской деятельности П. Б. в Политехническом Институте (некоторое время он читал также лекции на высших женских курсах и один год был приват-доцентом Петербургского университета) я знаю по многочисленным рассказам его коллег и слушателей (я сам стал преподавателем Института, — и в этом качестве членом отделения — по кафедре философии с осени 1914 г.). Среди слушателей ходили анекдоты о его рассеянности при чтении лекций; анекдоты эти, может быть и несколько разукрашенные фантазией, все же весьма правдоподобны. Рассказывали, что однажды — чуть ли не на вступительной лекции — он сел за высокую кафедру, предназначенную для чтения лекций стоя, так что голова его была скрыта от аудитории, и только от времени до времени высовывал голову то с одной, то с другой стороны кафедры, чтобы снова скрыться за нею; рассказывали также, что иногда П. Б., приходивший всегда в аудиторию с портфелем, туго набитым книгами, поднявшись на кафедру, вынимал книгу, и углубившись в нее, забывал об аудитории и заставлял ее в недоумении долго ждать, пока он не вспомнит о том, что надо читать лекцию. Во всяком случае он был, как я уже упомянул, плохим лектором для большой аудитории, — не только не обладал даром красивой, плавной речи, действующей на массового слушателя (его манера говорить, запинаясь и отыскивая слова вполне адекватные мысли — эта манера, чаровавшая в личной беседе, утомляла в большой аудитории), но и не умел считаться в большой аудитории с доступностью для нее содержания лекции, с ее утомляемостью и т. п. Где он был на месте и незаменим — это в качестве руководителя научного семинария, особенно при более подготовленном составе его участников. За время своей профессуры он стал любимым учителем целого ряда молодых ученых экономистов, большинство из

которых позднее сами составили себе научное имя и на всю жизнь остались его друзьями и почитателями (Л. Н. Юровский, П. А. Остроухов, С. С. Демосфенов, П. Н. Савицкий, В. Ф. Гефдинг, К. И. Зайцев и др.). Со многими из своих коллег по институту он завязал дружеские отношения, как и вообще его личность привлекала людей; но его беспокойный дух, его неустанные искания правды, привычка во всем мыслить «по существу» (любимое его выражение) и действовать, не считаясь с человеческими слабостями, часто контрастировали с установившимися трезвыми коллегиально-бюрократическими факультетскими порядками. Несмотря на любовь и уважение, которыми он пользовался, его коллеги все же смотрели на него до некоторой степени, как на «белую ворону», да и он сам чувствовал себя так среди них. Однажды он с негодованием говорил мне, как противоестественно, что экономическое отделение распределяет квартиры среди своих членов не по реальной нужде, а по «чинам», так что, например, холостой ординарный профессор получал совсем ненужную ему огромную квартиру, тогда как многосемейные младшие преподаватели должны были ютиться в тесных помещениях.

Но от большинства своих коллег он отличался уже и тем, что посвящал Институту и преподаванию только часть своего времени и сил и даже географически не был так прикован к Сосновке, как большинство из них, а проводил много времени в Петербурге. Об его политической деятельности я говорил выше; в иных формах она, конечно, не прекращалась и после окончания его депутатствования в Думе. Но одно из главных дел его жизни в эпоху 1907-17 гг. было редактирование «Русской Мысли».

Вот как началось это дело. По смерти прежнего редактора, В. А. Гольцева, доведшего своей — как метко выразился о нем Ю. И. Айхенвальд — «всесто-

ронней бездарностью» журнал до совершенного упадка, владельцы его передали его в полное распоряжение А. А. Кизеветтеру; последний тотчас же предложил П. Б. совместно с ним издавать и редактировать «Русскую Мысль». Сначала редакция и контора журнала оставались в Москве, где жил А. А. Кизеветтер; П. Б. продолжал жить в Петербурге, ежемесячно наезжая в Москву для редакционных совещаний. Но идейное руководство журналом и редакционная инициатива быстро перешли к П. Б. А. А. Кизеветтер, милейший человек и талантливый профессор русской истории Московского университета, был, по своим воззрениям и духовному складу, умом совершенно не оригинальным, типичным представителем банально-го либерализма московского типа; как публицист он придерживался тона фальшивого либерального разглагольствования. Естественно, что он никак не мог угнаться за кипучим, оригинальным умом П. Б., который всегда и во всем имел свои собственные «еретические» суждения и смело их высказывал, скандализуя так называемое «общественное мнение». Он это сам скоро почувствовал; вероятно, сам сознавая превосходство П. Б. над собой и будучи человеком исключительных моральных качеств, он постепенно уступал «бразды правления» П. Б., а в 1910 г. сам мирно устранился, и П. Б. стал единоличным редактором-издателем журнала. Журнал продолжал печататься в Москве, в традиционной типографии Кушнарева, но редактировался в Петербурге; рукописи и корректуры пересыпались по почте. Контора и секретариат редакции сначала оставались в Москве, а затем, с 1913 года, были тоже переведены в Петербург, поместившись на Нюстадской ул. д. 6, на Выборгской стороне. Бессменным секретарем редакции — с начала 90-х годов 19-го века и вплоть до закрытия в 1918 г. — была милейшая и достойнейшая женщина, всю свою

жизнь посвятившая журналу, Александра Павловна Татаринова (в юности бывшая подругой жизни рано умершего блестящего московского философа Н. Я. Грота).

Сразу же после своего вступления в состав редакции, и особенно после начала своего единоличного управления им, П. Б. возродил журнал, вдохнул в него струю свежей мысли и оригинальности; тираж журнала быстро повысился, журнал стал коммерчески окupать себя и скромно обеспечивать жизнь большой семьи П. Б. «Русская Мысль» — орган мысли П. Б. и идейного кружка его единомышленников — стал бесспорно самым интересным и идеально значительным из русских толстых журналов, за которым не мог угнаться ни солидный, но скучно-бесцветный либеральный «Вестник Европы», ни народническое «Русское Богатство», со смерти Н. К. Михайловского утратившее значительную долю своего интереса. «Хромал» в «Русской Мысли» только беллетристический отдел — отчасти потому, что огромные гонорары, которые к тому времени привыкли получать знаменитые беллетристы, были коммерчески-убыточны, отчасти же потому, что П. Б. не склонен был одобрять вошедшего в моду рискованного новаторства в этой области (так, к негодованию многих, был отклонен роман Андрея Белого «Петербург»; впрочем, в журнале печатались достаточно «сумасшедшие» произведения Алексея Ремизова). Из новых поэтов в журнале сотрудничали Блок, Ахматова, Гумилев и некоторые другие; и П. Б. — сам большой любитель поэзии и обладавший в ней художественным чутьем — поддерживал с ними не близкие, но дружеские отношения. Беллетристический отдел журнала редактировала сначала известная бывшая издательница «Северного Вестника» Л. Я. Гуревич, потом, с 1910 г., как я уже упомянул — Брюсов, а после разрыва с Брюсовым П. Б. привлек к его

редактированию Д. С. Мережковского и Зинаиду Гиппиус. Оба они оставались в редакции все же идейно чуждым ей элементом (в редакционных собраниях они не участвовали). П. Б. ценил Мережковского, как литературного критика, ценил и общую религиозную направленность идей Мережковского, но относилсярезко отрицательно к их религиозно-философскому фантастерству, а тем более к их запоздалому эстетически-религиозному увлечению революционными идеями; и сами Мережковские чувствовали себя более солидарными с революционным, славянофильски окрашенным народническим течением (в терминах партийной политики — с социалистами-революционерами), чем с реалистически-западническим либерализмом П. Б. Помню, как при обсуждении с ними идейной программы журнала, П. Б. сказал им: «Я — старый воробей-западник, и меня на славянофильской мякине не проведешь». После сравнительно короткого времени редакционного сотрудничества с Мережковскими, П. Б. счел себя вынужденным расстаться с ними, и последние годы существования журнала (кажется с 1913 или 1914 г.) редактировал его целиком единолично. Он сохранил, однако, добрые отношения с ними, выступал иногда в основанном ими Религиозно-философском обществе, и мне памятны наши совместные частые посещения и беседы с Мережковскими в их квартире в доме Мурузи на Литейном.

С самого начала редактирования П. Б. «Русской Мысли» я был его ближайшим сотрудником и советчиком (в не-политической части журнала). Вскоре П. Б. поручил мне читать рукописи философского и научного содержания, а с осени 1914 г., после ухода из редакции Мережковских, я читал все рукописи не-политического содержания, включая беллетристику и стихотворения. Наряду со мной, ближайшим членом редакции — по политическому отделу — был А. С.

Изгоев. Мы втроем, при участии А. П. Татариновой, как секретаря, составляли номера журнала, съезжаясь для этого еженедельно в помещении редакции. Близко к редакции стоял человек, которого П. Б. очень полюбил и высоко ценил — А. М. Рыкачев (пощедший добровольцем на войну в 1914 г. и сразу же на ней погибший), а также публицист Г. Н. Штильман (тоже преждевременно скончавшийся в 1916 г.). Из участников более многолюдных редакционных собраний вспоминаю кн. Е. Н. Трубецкого и С. А. Котляревского (во время их приездов из Москвы), а также Н. Н. Львова и кн. Г. Н. Трубецкого (П. Б. стоял близко к «Московскому Еженедельнику», который издавал кн. Е. Н. Трубецкой, начиная, кажется, с 1907 г.). При журнале П. Б. завел и издательство, опубликовавшее немногие, но ценные книжки, например, перевод «Многообразия религиозного опыта» В. Джемса и «Речей о религии» Шлейермакера (последние в моем переводе).

К числу исконных, прирожденных дарований П. Б. принадлежал подлинный дар редакторства. Именно в этом деле плодотворно сказывалось то сочетание в П. Б. оригинальности собственной мысли и строгой принципиальности с многосторонностью, терпимостью, любовным вниманием к многообразию чужих духовных типов и умственных направлений, которое вообще составляло привлекательность его личности. Он был также большим психологом, хорошо понимал людей, умел их привлекать и находить каждому надлежащую, соответствующую ему работу; он умел удачно «заказывать» статьи сотрудникам — в чем и состоит главное искусство редактора. Мало того, он обладал редким даром отыскивать людей — замечать и поощрять проблески таланта или оригинальной мысли в людях малозаметных и неизвестных, по большей части стоявших во всех отношениях ниже его, и

по общему умственному и духовному типу ему чуждых. Из множества случаев такого рода приведу один. В 1914 г. в начале войны, он «напал» на молодого, никому неизвестного писателя-философа Д. Муретова — человека крайне-правых убеждений, по своей духовной узости прямо противоположного натуре П. Б. и большинству из нас чуждого. Но Муретов имел интересные, свежие, весьма «еретические» для обычного интеллигентского миропонимания мысли о национализме, о национальном чувстве, которое он описывал как чувство аналогичное эротическому и имеющее в человеческой жизни ценность самодовлеющую, «по ту сторону добра и зла». Этим он сразу заинтересовал П. Б., который привлек его к сотрудничеству в «Русской Мысли» и к участию в наших расширенных редакционных собраниях. Коротко говоря, «редакционное» призвание П. Б. вытекало из его — столь редкого именно среди русских людей — дара объединять людей, привлекать их, быть, в силу своей многосторонности и любовной благожелательности, примиряющим средоточием для людей совершенно разнородных интересов и духовных типов. Политики, богословы, поэты, экономисты, историки, философы — люди, часто сами совсем чуждые друг другу, не имевшие между собой общего языка, сближались под примиряющим и объединяющим влиянием П. Б. В этой же многосторонности, основанной на интересе к духовной жизни во всем многообразии ее разнородных проявлений и на благожелательном отношении к людям, на любви ко всему, что есть живого и плодотворного в личности каждого человека, П. Б. был — как верно заметил после его кончины один, даже мало знавший его человек — человеком «Пушкинского» типа. Это его редакторское дарование, основанное на даре духовного объединения и руководительства, естественно могло развернуться и приносить плоды го-

раздо легче в рамках «толстого журнала», чем в деятельности газетного редактора, которая — по основаниям, упомянутым мною выше — много менее подходила его натуре (хотя он сам, по страстности своих политических интересов, всю жизнь испытывал влечение не только к газетной публицистике вообще, но и к редактированию газеты, и затратил на нее — в ущерб своему личному творчеству — много сил и времени).

Возвращаюсь теперь к хронологическому порядку воспоминаний — ближайшим образом к годам 1906-08, прожитым мною в семье П. Б. и потому в особенно тесном ежедневном общении с ним. Из его литературной деятельности этой эпохи я вспоминаю два существенных факта — именно две его статьи в «Русской Мысли», имевшие программатическое значение и особенно характерные для его идейной эволюции того времени. Первая из них носила заголовок «Великая Россия». Воспользовавшись выражением, употребленным П. А. Столыпиным в одной из его речей в Думе (именно в прошумевшей фразе о революционерах: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»), П. Б. наметил в этой статье совершенно новую и еретическую для «интеллигентского» сознания идею о призвании России, как империи, и, тем самым, о положительной стороне «империализма», как политики объединения многих народностей в одном обширном государственном организме. Этой статьей впервые в либеральной печати того времени было дано оправдание и идейное обоснование патриотизма, как веры в «Российскую Империю» — и в историческое призвание государственно-объединенного русского духа. Значение этой идеи в мировоззрении П. Б. я постараюсь оценить ниже в общей характеристике его воззрений (см. «Приложение»).

Не менее значительна по новизне идеи была другая его статья примерно того же времени. И именно, он тогда «напал» — он в течение всей своей жизни делал такого рода «открытия» — на только что появившуюся книгу George Sorel'я “Essai sur la violence” (Очерк о насилии), в которой насилие восхвалялось, как основной, решающий метод общественного строительства и простейший путь к осуществлению социализма. П. Б. сразу ощутил все симптоматическое значение этого культа насилия и написал об этой теории статью “Facies hypocratica”; он охарактеризовал это учение, как искаженный, «предсмертный» лик идеально кончающегося социализма. Если вспомнить, что эта книга Сореля позднее вдохновила Муссолини на политическую программу «фашизма» и тем самым, через влияние фашизма на национал-социализм, косвенно содействовала возникновению последнего, т. е. что Сорель, будучи сам «крайним левым», оказался таким образом идеальным отцом — или «дедом» — новейшего, социалистически окрашенного демагогического деспотизма, то нельзя не оценить пророческого морально-политического чутья П. Б.

Весной 1908 г. кончилось мое двухлетнее сожительство с семьей Струве и тем самым особый период моего общения с П. Б. К этому моменту в моей жизни кончилась та эпоха, которую немцы называют “Lehr-und Wanderjahre” (годы ученья и скитаний), — эпоха молодости, ученья, идеального брожения иискания своего внутреннего и внешнего пути в жизни. Летом этого года я женился и, вернувшись в Петербург после летней поездки заграницу, окончательно избрал своим призванием научно-философское творчество и профессуру по философии. Я стал систематически пополнять пробелы моего философского образования, исподволь готовясь к сдаче магистерского экзамена. Одновременно завершилась эпоха моего

интеллектуального и духовного формирования; именно к этому времени я окончательно уяснил себе основы моего собственного философского мировоззрения.

Я упоминаю здесь об этих обстоятельствах моей личной внешней и внутренней жизни потому, что они образуют фон, на котором вырисовываются мои воспоминания о ходе моих отношений к П. Б. и о его собственной жизни и деятельности. Но с этим переломом в моей жизни, кроме того, хронологически случайно совпало и изменение в жизни П. Б. А именно, семья Струве (проведя лето 1908 г. в имении Городок, Новгородской губернии, где Н. А. имела родственные связи) с той же осени 1908 г. поселилась в Сосновке, под Петербургом, где помещался Политехнический Институт. П. Б. к тому времени, не порывая формально с конституционно-демократической партией, фактически от нее отошел, и, можно сказать, молчаливо вышел из ее состава. Он вообще в эти годы отошел от практической политической деятельности и отдался своей только что начавшейся профессуре в Политехническом Институте. (К издательству «Русской Мысли» он в то время привлек московского литератора-капиталиста С. В. Лурье, переводчика «Многообразия религиозного опыта» Джемса. Забегая вперед, замечу, что П. Б. скоро вновь расстался с ним, так как был недоволен довольно властным вмешательством Лурье в редакционное руководство журнала).

Этим 1908-ым годом заканчивается первый, ровно десятилетний период моей дружбы с П. Б., в течение которого влияние его личности и идей сыграло существенную роль в моем духовном и умственном развитии. Я не могу не подвести здесь вкратце итогов того, чем я ему обязан. Этим мне, может быть, лучше всего удастся охарактеризовать его собственный умственный и духовный облик.

Влияние это касалось прежде и больше всего

формирования моих политических воззрений. В этой области он был моим подлинным наставником, и я должен с благодарностью признать, что воспитался в школе его политической мысли. Мы оба начали с радикальных и социалистических воззрений, типичных для русской «передовой» интеллигенции 90-х годов 19-го века (для поколения, в котором совершилось новое пробуждение политического радикализма после политического застоя 80-х годов). Но — помимо общей, редчайшей в нашей тогдашней среде черты полной независимости мысли, резко контрастировавшей с господствовавшим догматизмом, под влиянием чего П. Б. приучал людей и в политике всегда мыслить «по существу», не считаясь с принятым общественным мнением — П. Б., можно сказать, уже с ранней юности внес в это типическое миросозерцание новую ноту, которая, помню, с самого уже начала нашего знакомства произвела на меня впечатление. Эту ноту я мог бы определить, как г о с у д а р с т в е н н о е сознание. Оппозиционное, и в особенности радикальное, общественное мнение ощущало себя угнетенным властью и совершенно отчужденным от нее. Государственная власть — это были «они», чуждый и недоступный элемент двора и бюрократии, который мыслился, как группа корыстных и умственно ограниченных властителей над подлинной, народной и общественной Россией. «Им» противостояли «мы» — «общество», «народ» и прежде всего «каста» интеллигенции, озабоченная благом народа и посвятившая себя служению народу, но по своему бесправному положению способная только критиковать власть, будить оппозиционное настроение и втайне готовить переворот. П. Б. — отчасти вероятно по своему происхождению из дворянско-бюрократической семьи (отец его был губернатором), отчасти по внутреннему призванию к политической мысли —

нес в себе и проявлял с самого начала зародыш совершенно иного, именно ответственного, положительного, творческого политического образа мыслей, отчетливо выделявшегося от обычного — *tranchons le mot* — рабского сознания (которому суждено было — увы! — практически восторжествовать и определить судьбу России). Он рассуждал всегда о политике, можно сказать, не «снизу», а «сверху», не как член порабощенного общества, а сознавая себя потенциальным участником положительного государственного строительства. Все дальнейшее его политическое развитие было только последовательным выражением этой его исконной, как бы органической установки. Еще будучи радикалом и даже социалистом, он был не «бунтарем», а сознавал себя государственным деятелем, как бы только временно и случайно находившимся в оппозиции. Это есть, конечно, единственно здоровое и плодотворное политическое сознание. И это сознание, как-то сразу нашло отклик в моей душе и помогло мне излечиться от порочной установки бессильного радикального «будирования» и критиканства. Не испытывая сам призыва к политической деятельности, я просто интеллектуально почувствовал, что эта установка одна лишь адекватна пониманию подлинного существа государственной жизни. Это государственное сознание предполагает трезвый реализм в оценке настоящего и возможного будущего, предполагает непосредственное ощущение начала иерархии в общественной жизни — понимание, что при всяком (даже последовательно «демократическом») общественном строе ответственное, разумное, государственно-опытное меньшинство призвано подлинно определять государственно-общественную жизнь; оно предполагает, наконец, что «революция», восстание народных масс, есть, может быть, иногда неизбежное и даже в конечном итоге благотворное,

но всегда ненормальное и болезненное событие, нарушающее естественную структуру национально-государственного бытия. Вместо многих примеров этого, как бы прирожденного П. Б. образа мыслей, приведу только один мелкий, но характерный случай, мне запавший в память. Проходя где-то около Таврического дворца с П. Б. в знаменательный день открытия Первой Государственной Думы (в апреле 1906 г.), когда на улице господствовало приподнятое радостное настроение, мы натолкнулись на сцену разгона казаками какого-то скопления толпы. На мой невольный протестующий возглас П. Б. заметил: «Надо научиться спокойно относиться к тому, что полиция берегает порядок на улице». Я как-то сразу ощутил и основательность этого простого соображения, и существенность той поправки, которую оно вносило в привычный в нашем кругу склад идей.

Сложнее определить, чем я обязан П. Б. в моем общем умственном и духовном развитии. Я не говорю здесь о пользе, которую я извлекал из многосторонности его образования и его огромной начитанности — об этом уже пришлось и еще придется говорить; до конца его жизни он помогал мне своими литературными указаниями. Я имею в виду только влияние его общего умственного и духовного склада. Здесь значение моего общения с П. Б. состояло в редком счастливом сочетании какого-то исконного, как бы предопределенного духовного сродства с существенным различием и даже противоположностью наших умственных складов и общего направления наших первичных интуиций, благодаря чему мы как бы взаимно дополняли друг друга и тем друг другу помогали (смею думать, что это отношение было взаимное). Начну с указания на различие наших умственных натур. Мой отрешенной созерцательности противостояла действенно-живая направленность мыс-

ли П. Б. на конкретное многообразие (П. Б. шутя часто называл меня «буддистом»). В силу этого различия у нас всегда было два разных мировосприятия, две разные «философии». Я был «монистом» (в широком, общем смысле этого понятия), сознавал многообразие подчиненным единству и пронизанным им; П. Б., напротив, был «плюралистом»; я — «платоник», признающий реальность общих начал и сил; П. Б. был, напротив, в этом отношении «аристотеликом», т. е. умом, видящим и признающим подлинную реальность только конкретно-единичною. С этим связано еще иное различие, тоже выражимое (условно) в терминах различия между «платонизмом» и «аристотелизмом»: я склонен сознавать внутренний, духовный, «иной» мир прежде всего в его противоположности и противостояния миру внешне-эмпирическому; П. Б., напротив, — хотя, как я уже упоминал, и имел ясное сознание своей личной потаенной внутренней духовной жизни — в качестве натуры активной имел генденцию духовно вкладываться в мир, а потому и воспринимать духовное начало, как силу имманентную миру, активно действующую в нем и его формирующую. Поэтому я всегда, и в ранней юности, в моих духовно-философских исканиях, шел своим собственным путем, отличным от пути П. Б. Это не мешало тому, что общение с его умственно-дузовным складом помогало мне постепенно преодолевать односторонность отрешенного спиритуализма и на ином, моем пути, искать и находить связь между «внутренним» и «внешним», миром духа и миром эмпирической реальности.

Но главное, в чем мы сходились и что меня привлекало в его духовном мире, была наша общая склонность и страсть к познавательному созерцанию реальности и к связанному с ним умонастроению о бъективизме. В этом отношении П. Б. имел, не-

смотря на всю страстность и действенность своего существа, натуру подлинного мыслителя. Не будучи специалистом-философом, он вкладывал в свою научную мысль истинно-философский пафос, что далеко не всегда присуще и прирожденным ученым. Бескорыстное созерцание реальности, связанное с признанием какого-то высшего смысла реальности, как таковой, обязанности личности в каком-то смысле ей подчиняться (причем моральные ценности и требования, противостоящие несовершенству эмпирической действительности, воспринимаются укорененными в некой объективной реальности и черпающими из нее свою значимость) есть та истинно-философская черта умственно-духовного склада П. Б., в которой я воспринимал свое исконное духовное сродство с ним. Общение на почве такого духовного сродства всегда необычайно плодотворно, содействует укреплению и оживлению внутренних творческих сил. Что было для меня особенно ценно в этом, искони мне близком мотиве духовного реализма и объективизма П. Б., это — то, что в силу обращенности его ума на конкретную жизнь он умел прилагать этот мотив к практическо-действенной ориентировке в жизни. Именно на этом пути я научился от него высшему моральному и религиозному смыслу политического реализма. Этот его реализм был выражением сочетания в нем напряженной духовности с трезвостью; трезвость он сознавал как не только интеллектуальное, но и моральное обязательство; и наоборот, всяческое фантазерство и безответственно-мечтательное отношение к действительности, — как морально-порочную установку. Это сочетание принципиальности с трезвостью отличало его от обычного типа русских религиозных мыслителей; в моей юности оно имело большое воспитательное значение для меня.



## **V. ГОДЫ 1909-1913. «ВЕХИ». ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВСТРЕЧА ЗАГРАНИЦЕЙ**

Перехожу теперь, после этого отступления, к описанию новой эпохи моего общения и сотрудничества с П. Б., в последние довоенные годы.

Весна 1909 г. была ознаменована в нашем идеином сотрудничестве большим литературно-общественным событием — опубликованием сборника «Вехи», в котором семь писателей объединились в критике господствующего интеллигентского, материалистического или позитивистически обоснованного политического радикализма. Идея и инициатива «Вех» принадлежала московскому критику и историку литературы М. О. Гершензону. Гершензон, человек чрезвычайно талантливый и оригинальный, по своим идеальным воззрениям был довольно далек П. Б. и мне, как и большинству остальных участников «Вех». Он исповедовал что-то вроде толстовского народничества, мечтал о возвращении от отрешенной умственной культуры и отвлеченных политических интересов к некой опрошенной органически-целостной духовной жизни; в его довольно смутных воззрениях было нечто аналогичное немецкому романтическому прославлению «души», как протесту против засилия иссушающего интеллекта. Но он нашел сообщников в своем замысле критики интеллигентского мироизмерения только в составе бывших соучастников сборника «Проблемы идеализма»: это были Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,

Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве и я, к которым был присоединен еще близкий П. Б. и мне публицист А. С. Изгоев. Общая тенденция главного ядра сотрудников «Вех» была, в сущности, прямо противоположна тенденции Гершензона. Если Гершензону миросозерцание и интересы русской радикальной интеллигенции представлялись слишком сложными, утонченными, отравленными ненужной роскошью культуры, и он призывал к «опрощению», то наша задача состояла, напротив, в обличении духовной узости и идейного убожества традиционных интеллигентских идей. Позднее я, шутя, как-то сказал Гершензону, что мы, собственно, имели намерение напасть друг на друга, и что только потому, что в промежутке между нами стояла «русская интеллигенция», мы принялись совместно, но с разных сторон, наносить ей удары. Разногласие это обнаружилось тотчас же по выходе в свет «Вех»: П. Б. дал в «Русской Мысли» уничтожающе-резкий отзыв о статье Гершензона. Сама возможность сотрудничества основного ядра участников «Вех» с их инициатором Гершензоном была определена тем, что Гершензон — вообще человек чудаковатый и капризный — решил, в интересах независимости суждения отдельных соучастников, не знакомить никого из нас до напечатания со статьями остальных сотрудников, так что каждый из нас ознакомился с содержанием «Вех» только после их опубликования; не было и никакого предварительного редакционного сговора и обмена мнений.

Но это разногласие прошло в общем незамеченным: индивидуальный голос Гершензона как-то потонул в солидарном хоре голосов остальных участников «Вех». Несмотря на то, что замысел их принадлежал Гершензону, и несмотря на отсутствие всякого сговора, «Вехи» выразили духовно-общественную тенденцию, первым провозвестником которой был

П. Б. Эта тенденция слагалась из сочетания двух основных мотивов: с одной стороны, утверждалась — против господствующего позитивизма и материализма — необходимость религиозно-метафизических основ мировоззрения — в этом отношении «Вехи» были прямым продолжением и углублением идейной линии «Проблем идеализма»; и с другой стороны, в них содержалась резкая, принципиальная критика революционно-максималистических стремлений русской радикальной интеллигенции. Я участвовал в «Вехах» статьей «Этика нигилизма», в которой пытался свести в систему «нигилистический морализм» интеллигентского мировоззрения и вскрыть его безвыходную противоречивость; статья моя кончалась призывом к замене «нигилистического морализма» «р е ли ги о з ны м г у м ани з м о м» (под этим, несколько туманным термином мне тогда представлялась христианская идея богочеловечности). Более открыто и отчетливо этот призыв был выражен С. Н. Булгаковым (который уже тогда был верующим православным христианином) в статье «Героизм и подвижничество», в которой идеалу революционного героизма противопоставлялся идеал христианской святости. П. Б. написал для «Вех» статью «Интеллигенция и революция»; помню, что мы с ним, не сговариваясь, чрезвычайно близко сошлись в духе и идейных мотивах критики интеллигентского мировоззрения, и что и он сам, и Н. А. мне это с удовлетворением высказали.

«Вехи» имели шумный, сенсационный успех — они были главной литературно-общественной сенсацией 1909 г. В течение полугода они выдержали пять изданий (первое в 3000 экземпляров, последнее, помнится, в пять тысяч); к последнему изданию был приложен составленный Гершензоном большой библиографический список журнальных и газетных откликов на них. Успех этот был по существу успехом

скандала. Если идеи «Проблем идеализма» уже воспринимались, как еретические, то ересь подобного рода — критика позитивизма и материализма, пропаганда «идеализма» — все же снисходительно прощалась радикальным общественным мнением, как относительно-невинное, хотя и не безопасное, чудачество. Иное дело — критика основного, священного догмата радикальной интеллигенции — «революционизма»; она рассматривалась, как дерзновенная, безусловно нестерпимая измена вековым священным заветам русской интеллигенции, как измена традиции, завещанной «пророками» и «святыми» русской общественной мысли — Белинским, Грановским, Чернышевским, Писаревым, как предательство векового стремления к свободе, просвещению и прогрессу и переход на сторону черной реакции. Против «Вех» восстали не только революционеры и крайние левые; не менее, пожалуй, были шокированы и возмущены ими и умеренно-либеральные круги. Противники «Вех» придавали им, очевидно, очень большое — бесспорно преувеличенное — политическое значение: опасались, что они будут содействовать росту консервативных течений и ослаблению либеральных и радикальных сил. Только этим можно объяснить, что такой практический политик, как П. Н. Милюков, лидер партии и член Думы, считал необходимым совершить лекционное турне по России, чтобы перед большими аудиториями громить «Вехи». Господствующее общественное мнение восприняло из духовной тенденции «Вех» только эту, политическую сторону, которая для нас самих была, хотя и существенной, но все же лишь производной от более основной нашей задачи — пересмотра самих духовных основ господствующего миросозерцания.

Это соотношение ярко сказалось в прениях о «Вехах», устроенных тотчас же после выхода сбор-

ника, в апреле 1909 г., петербургским Религиозно-философским обществом (об истории и деятельности которого, поскольку она связана с П. Б., я расскажу сейчас же ниже). Застрельщиками в критике «Вех» были нераздельные тогда Д. С. Мережковский, Зинаида Гиппиус и Д. В. Философов (бывшие главными руководителями Общества). Философов в своем докладе сопоставлением цитат из статей ненавистного оппозиционному общественному мнению Меньшикова и из статьи П. Б. в «Вехах» пытался скомпрометировать идеи «Вех» простым утверждением солидарности их идей с черносотенством публициста «Нового Времени». Мережковский прочитал свою (потом напечатанную в «Речи») статью против «Вех» под ядовитым заглавием «Семь смиренных» (он уподоблял семь участников «Вех» семи «смиренным» иерархам, членам Святейшего Синода, отлучившим Льва Толстого от церкви). Из участников «Вех» в собрании выступали П. Б. и я, и несмотря на то, что массовое настроение аудитории было против нас и на стороне наших противников, нам без труда удалось все же обличить поверхностность этой критики и иметь некоторый успех. Вообще идеи «Вех», вопреки солидарному хору яростной критики, которой они были встречены или отчасти даже благодаря рекламе, созданной этой критикой, не остались без влияния по крайней мере на избранное меньшинство русской интеллигенции. Они во всяком случае сделали одно дело — пробили толщу заносчивой цензуры общественного мнения, не позволявшей говорить иначе, чем с благоговением об освященных традицией радикализма идеях. И если «Вехам» не суждено было иметь определяющее влияние на ход русской политической жизни — их идеи потонули во вновь нараставшей в более широких массах общества и народа волне политического радикализма, особенно уси-

лившейся во время войны 1914-1917 г. — то в дружном и энергичном отпоре, которым общественное мнение интеллигенции встретило большевистскую революцию, как и в возникших после революции симптомах религиозного покаяния и возрождения — идеям «Вех» по праву можно приписать существенное влияние.

Той же весной 1909 г. наши дружеские узы с П. Б. были еще скреплены тем, что П. Б. стал крестным отцом моего старшего сына, Виктора. Четверть века позднее П. Б. довелось стать наставником и научным руководителем своего крестника, посвятившего себя изучению русской истории.

Из зимнего сезона 1909-10 г. мне памятны следующие факты моего общения с П. Б. Постоянно езди в Москву по делам «Русской Мысли», П. Б. состоял в тесных отношениях с кн. Е. Н. Трубецким и С. А. Котляревским, редактировавшими культурно-политический журнал «Московский Еженедельник»; он старался связать и меня с этим журналом и через его посредство я получил приглашение постоянного сотрудничества в нем, именно ведения обзора журналов. Я, однако, к тому времени начал отчетливо сознавать, что мое призвание не в публицистике, а в научно-философском творчестве, и отказался от предложенной мне постоянной журнальной работы. Также при участии П. Б., я получил от Е. Н. Трубецкого и известной московской меценатки, Маргариты Кирилловны Морозовой приглашение прочитать доклад в собиравшемся в ее особняке на Смоленском рынке философском кружке. Я прочел доклад о входившем в то время в моду англо-американском философском течении «прагматизма». В прениях по докладу, наряду с москвичами (помню Е. Н. Трубецкого, Л. М. Лопатина, С. В. Лурье и еще совсем молодого И. А.

Ильина) принимал участие и П. Б. Я выступил с резкой принципиальной критикой этого учения, релятивизирующего идею объективной истины, но встретил довольно дружный отпор со стороны многих москвичей (в том числе старика Л. М. Лопатина, в то время успевшего совсем забыть свою собственную очень замечательную метафизическую систему и восхищавшегося жизненностью идей Джемса). П. Б., однако, решительно стал на мою сторону. Помню его изречение: «При входе во всякий научный семинарий, нужно было бы вывесить объявление: вход прагматистам воспрещается». Он хотел этим указать на гибельность прагматической теории, по которой истина определяется практической полезностью воззрений, для пафоса бескорыстного научного исследования объективной истины. Мой доклад вместе с прениями по нему был напечатан в «Русской Мысли». Наконец, третий вспоминающийся мне факт состоял в том, что весной 1910 г. у нас зародился замысел выяснить и развить в коллективном труде положение о содержание тех идей, которые были выражены в «Вехах» в отрицательной форме критики интеллигентского миросозерцания. У меня на квартире по почину и подбору П. Б. состоялось собрание для обсуждения идейной программы нового сборника. Содержание беседы и состав ее участников исчезли из моей памяти, за исключением двух пунктов: я сам разывал, при полном одобрении П. Б., идею о ганического духовно-общественного миросозерцания, в противоположность механистическому воззрению о самочинном, умышленном, человеческом строительстве жизни; и в числе участников запомнилось мне совершенно новое в нашем кружке, символически значительное лицо — член Думы, кадет Караполов, из старообрядцев, славившийся своей редкой в либеральных кругах того времени преданностью религи-

озным идеям. Замысел этот почему-то остался без осуществления.

Лето 1910 года мы проводили, большой дружной колонией интеллигентов, в имении гр. Паниной Машук в 20-ти верстах от Торжка в Тверской губернии. Участниками колонии были семьи Струве, М. Н. Стоюниной и ее зятя, проф. Н. О. Лосского, академика Насонова, инженера Старынкевича, фабричного инспектора и проф. Политехнического Института (позднее расстрелянного большевиками) А. Н. Быкова, тверского земца Ф. Ф. Ольденбурга, историка А. А. Корнилова и, наконец, моей семьи. А. А. Корнилов работал там над историей семьи Бакуниных (напечатанной в «Русской Мысли»); имение Бакуниных Прямухино с его архивом находилось недалеко от Машука, и между ними была личная связь: жена фактического владельца Машука, М. И. Петрункевича, Елизавета Ильинична Петрункевич, была урожденная Бакунина. Кроме упомянутых выше лиц, в Машуке гостил у Лосских молодой талантливый философ Дм. Вас. Болдырев, позднее в годы войны ставший сотрудником «Русской Мысли» и в революцию погибший в Сибири в героической борьбе против большевиков. К Петрункевичам в Машук приезжал этим летом в гости известный английский знаток России, сэр Бернард Пэрс (Pares). Не думаю, чтобы он там познакомился с П. Б., но знаю, что они встречались; в своей книге о России Пэрс с большой любовью и уважением отзываются о П. Б. и говорит о сильном впечатлении, которое П. Б. на него произвел. Сам П. Б. не жил длительно с нами, но часто наезжал, и я помню его беседы со мной о задуманных им реформах в ведении «Русской Мысли». Семья П. Б. должна была в середине лета уехать в Торжок из-за заболевания детей скарлатиной, но в конце лета снова вернулась в Ма-

шук, и с ней и П. Б.; при их отъезде я провожал их на лошадях до Торжка.

Следующий зимний сезон 1910-11 гг. памятен мне особенно событием ноября 1910 г., всколыхнувшим всю Россию и нашедшим себе отражение в жизни нашего редакционного кружка и в петербургском Религиозно-философском обществе — именно внезапным уходом из Ясной Поляны и последовавшей через несколько дней после этого смертью Л. Н. Толстого. Но прежде, чем рассказать об этом, я должен упомянуть о самом Религиозно-философском обществе, так как именно в нем выразилась наша реакция на это событие. История его в общих чертах такова. Кажется, в 1902-03 гг. (ни П. Б., ни я не жили в то время в Петербурге) по почину, если я не ошибаюсь, Мережковских возникли «религиозно-философские собрания», на которых происходили встречи и собеседования между свободными религиозными мыслителями из интеллигенции и иерархами православной церкви. Наш кружок в то время был еще далек от интереса к церковному христианству (за исключением, впрочем, одного только С. Н. Булгакова, но он жил в те годы в Киеве). Эти собрания, в которых шли споры между интеллигентами-«богоискателями» и представителями традиционной церковной веры, вскоре, однако, прекратились (возможно, что они были запрещены церковной властью). Зимой 1904-05 гг. Н. А. Бердяев и наезжавший в Петербург С. Н. Булгаков редактировали сначала перенятый от Мережковских журнал «Новый Путь», а затем сменивший его «толстый» журнал «Вопросы Жизни» (издававшийся Д. Е. Жуковским). В это время произошло сближение между двумя разнородными группами интеллигенции: между «богоискателями» из поэтов-символистов (Мережковский, Зинаида Гиппиус, Н. М. Минский, прибывший тогда из заграницы и сразу вы-

двинувшийся Вячеслав Иванов, Федор Сологуб и близкие к ним более молодые поэты А. А. Блок, Сергей Городецкий и Г. И. Чулков, прошумевший тогда, как зacinатель направления «мистического анархизма»; к этой же группе принадлежал и замечательный религиозный писатель В. В. Розанов) и нашим кружком, пришедшим к «идеализму» от марксизма. Душой этого сближения был неутомимый собеседник, Н. А. Бердяев; через него познакомился и я с этой средой поэтов-богоискателей. В шумный сезон 1904-05 гг. с его политическими банкетами и беспорядками, а тем более в революционную пору 1905-06 гг. эти интересы стояли все же на заднем плане общественного внимания. Но именно на почве этого сближения двух групп интеллигенции возникло, как возрождение в новой форме Религиозно-философских собраний, петербургское Религиозно-философское общество (а также московское Религиозно-философское общество имени Вл. Соловьева). Точное время его возникновения я не помню, во всяком случае заметную роль в петербургской общественной жизни оно стало играть лишь в годы политической реакции и политического успокоения, начиная с 1908 года. Руководителями его были Мережковские, постоянным председателем — А. В. Карташев. Кроме упомянутых выше «богоискателей», в обществе принимали участие А. В. Карташев, очень талантливый чиновник Синода Тернавцев, философ С. А. Аскольдов-Алексеев и несколько священников либерального (в политическом и богословском смысле) направления — отец Константин Аггеев и некий отец Михаил (фамилии не помню), вскоре запрещенный к служению и ставший старообрядческим епископом. (Бердяев к тому времени переселился в Москву). Я начал посещать Религиозно-философское общество с осени 1908 г., П. Б., помнится, позднее; особенно частым стало его и мое обще-

ние с Мережковскими в годы, когда они, о чём я уже упоминал, редактировали беллетристический отдел «Русской Мысли» (1911-13). В их квартире на Литейном в известном доме Мурузи, где с ними жил и Д. В. Философов, происходили собрания кружка близких участников и руководителей Религиозно-философского общества (в него входили, кроме них, А. В. Карташев, С. А. Аскольдов, П. Б. и я).

Направляясь однажды вечером, в начале ноября, на такое собрание, я по дороге прочитал в вечерней газете о внезапном ночном бегстве Л. Н. Толстого из его дома в Ясной Поляне. Я сам был потрясен этим известием и застал Мережковских и остальных членов кружка в большом возбуждении. Помню суждение П. Б. на этом вечере, что уход Толстого «есть событие величайшего религиозного значения». Это суждение особенно запомнилось мне, потому что П. Б. никогда не увлекался Толстым, как религиозным проповедником, и всегда, напротив, относился к нему резко отрицательно — в отличие от меня, который в юные годы увлекался его писаниями и, хотя и не разделял его идей, долго не мог отчетливо осознать, в чем именно они ложны. Когда через несколько дней, в течение которых вся Россия лихорадочно следила за странствованием и заболеванием Толстого, пришло известие об его смерти, на совещании у Мережковских было решено устроить торжественное заседание Религиозно-философского общества, посвященное его памяти. По предложению Мережковских, было принято необычайное решение (вполне одобренное и П. Б.): после речей собрание должно было закончиться молитвой. Было условлено, что последним выступит упомянутый только что старообрядческий епископ Михаил, который закончит свою речь свободной молитвой об упокоении души Толстого; это должно было быть для собрания сигналом встать, после чего

какой-то приглашенный хор должен был пропеть «Заповеди блаженства». Это была первая попытка перехода религиозно-заинтересованной интеллигенции от религиозно-философских рассуждений к участию в неком внеконфессионально-церковном богослужении. В этом решении, несмотря на некоторую его нарочитость и искусственность, было что-то, что соответствовало общему настроению, религиозно потрясенному смертью Толстого. Помню, что, например, на педагогических курсах Фребелевского общества слушательницы после моей речи о Толстом тоже, по собственной инициативе, пропели заупокойную молитву. Против решения протестовал из всего нашего собрания только Аскольдов, убежденный православный, предлагавший вместо этого отслужить настоящую православную панихиду. Собрание состоялось в очень торжественной и приподнятой атмосфере, по принятой программе (большинство произнесенных речей было напечатано в «Русской Мысли», в декабрьской книжке 1910 г.). П. Б. сказал очень интересное слово о «противоборстве Добра и Красоты в учении Толстого». Неожиданное религиозное пение было принято весьма разнородным собранием с некоторым недоумением, но, кажется, все же произвело впечатление. В более широких интеллигентских кругах оно было встречено насмешкой. Я рассказал так подробно об этом эпизоде, потому что думаю, что и для самого П. Б., как и для некоторых других участников собрания, он был выражением некоторого, смутно нараставшего в нас стремления к церковному оформлению наших религиозных исканий. Вплоть до послереволюционных 20-х годов, П. Б. (как и мы все, члены кружка «Русской Мысли») по личным религиозным убеждениям стоял определенно вне церкви (что же касается Мережковских, то они, как известно, проповедовали свое собственное, апокалиптически-револю-

ционное христианство, резко враждебное православной и вообще традиционной церковной вере). Но со свойственной П. Б. духовной чуткостью, он одновременно уже тогда сознавал огромное положительное духовное значение церковной традиции и церковной оформленности веры.

Возвращаясь немного назад, к лету и осени того же 1910 года, приведу некоторые факты из моей собственной литературно-научной деятельности, косвенно бросающие свет на воззрения П. Б. Начиная с 1908 г., главным событием моей духовной жизни было знакомство с творениями Гете — не только с его поэзией, но и с его, мало известным в России, научным и религиозно-философским миросозерцанием — знакомство, оказавшее определяющее влияние на мое философское и духовное развитие. Положительная оценка идей Гете, почитание основных мотивов его жизнепонимания было одним из существенных пунктов, в которых проявилось мое «духовное сродство» с П. Б. В противоположность обычной установке русской интеллигенции, которая, по образу Белинского в его последнюю эпоху, восторгалась гуманитарно-этической «бунтарской» установкой Шиллера и с пренебрежением и отрицанием относилась к величавому, религиозно-уравновешенному, проникнутому благоговением к божественным основам мирового бытия и потому «консервативному» умонастроению Гете, П. Б. с юности был почитателем Гете, и это почитание было очень характерно для всей его интуиции жизни — именно для изложенного выше его «объективизма». Еще в юные, «марксистские» годы П. Б. напечатал — помнится в «Мире Божием» — интересную статью «Маркс и Гете», в которой, отыскав и опубликовав какое-то положительное суждение Маркса об объективизме Гете, П. Б. противопоставлял его известной яростной критике Ге-

те с точки зрения этического радикализма у немецкого публициста Бёрне.

Можно сказать, что весь «марксизм» П. Б. в его юные годы (как и мой собственный) был определен положительной оценкой именно этого момента «гетеевского» объективизма у Маркса, его подчинения морально-политического идеала неким имманентно-объективным, как бы космическим началом общественного бытия. Я задумал написать целую книгу о миросозерцании Гете; П. Б. очень поощрял меня к этому и предложил опубликовать ее по частям в «Русской Мысли» в форме «Этюдов о Гете». Дело у меня не пошло дальше первого «этюда», посвященного «гносеологии Гете» (которая определила всю мою позднейшую философскую систему); статья была напечатана в том же 1910 г. в «Русской Мысли». — Другой факт касается спора, возникшего тогда между двумя философскими лагерями и имевшего общественное значение. В 1910 г. в Петербурге группа молодых философов-новокантианцев (возглавляемая начинаящим «риккертианцем» С. И. Гессеном, сыном И. В. Гессена) стала издавать журнал «Логос», как русский отдел международного, издававшегося в Германии, одноименного журнала. Московский славянофильствующий философ Эрн выступил с резкой критикой этого начинания, доказывая, что античная идея «логоса» унаследована только восточной церковью и через нее русской мыслью, что поэтому русским нет нужды учиться у немецкой и вообще европейской философии, опустошающей рационализм которой основан именно на оторванности ее от начала «логоса». Я сам, к тому времени, окончательно преодолел «кантианскую» стадию своего развития, а тем более был далек от «риккертианства» и иных видов новейшего немецкого «новокантианизма»; все умонастроение русских новокантианцев было мне чуждо (хотя я и опубликовал одну статью в «Логосе»). Но

полемика Эрна задела гораздо более общую проблему; она была возрождением славянофильской критики западного духовного мира вообще; П. Б. предложил мне возражать Эрну, что я и сделал; из этого завязался между нами обмен полемическими статьями. Я упрекал Эрна в философском шовинизме, в несправедливо-пренебрежительном отношении к живому духовному началу европейской мысли и в беспримерном преувеличении достижений русской философии (Эрн уподоблял Сковороду Сократу, а Вл. Соловьева — Платону); я ссыпался при этом на уничтожающий отзыв самого Вл. Соловьева в «Национальном Вопросе» о русской философии. П. Б. очень одобрил мои соображения. Он предложил также Евгению Трубецкому высказаться в «Русской Мысли» по этому вопросу; Трубецкой отказался, мотивируя свой отказ словами: «Спорить против Эрна не хочу — против Франка не могу». Я привожу этот маленький эпизод, как характерный для неизменного идеиного «западничества» П. Б., которому он остался верен в течение всей своей жизни, несмотря на свою страстную любовь к России и высокую оценку русской духовной культуры и русской науки.

Следующие два года, 1911-1912, вплоть до весны 1913 г., когда я уехал на полтора года за границу, чтобы писать свою научную диссертацию («Предмет знания»), мы гораздо реже встречались с П. Б. — отчасти потому, что жили сравнительно далеко друг от друга, на двух противоположных окраинах Петербурга (П. Б. — в Сосновке, я — на Крестовском острове), отчасти же потому, что я всецело ушел в научную и педагогическую работу. (В 1911-12 г. я был всецело поглощен сдачей магистерского экзамена, в следующем году был занят предварительной подготовкой моего большого научного труда, и, кроме того, в течение этих двух лет был переображен большим количеством лекций).

Были планы совместного проведения летних каникул в деревне, но они почему-то не осуществились. Из общественной жизни того времени вспоминаю, что молодые, упомянутые только что философы кантианцы (политически — радикалы или социалисты) затеяли в 1910-11 г. политический «салон», в который приглашали общественных деятелей и писателей. По крайней мере на одном из этих собраний были П. Б. и я. Помню спор П. Б. с И. В. Гессеном, против которого (как и против позиции кадетской партии) он защищал аграрную политику Столыпина. Но беседы в «салоне» были в общем бесцветны; уходя с собрания, П. Б. жаловался мне на педантизм и отсутствие дарования молодых его руководителей. Из моей памяти, вообще говоря, стерлись воспоминания о встречах и беседах с П. Б. в эти годы. Относительно мирное течение политической жизни, очевидно, не давало повода к сколько-нибудь ярким, западающим в память высказываниям П. Б. Из публицистической деятельности П. Б. за это время вспоминаю один эпизод, когда он снова учинил общественный «скандал». На страницах «Русской Мысли» он поднял «украинский вопрос», указав на вредность и ложность стремления некоторой части украинской интеллигенции к полному культурному (а иногда даже политическому) обособлению от России, ее нежелания воспринимать украинский народ, как неотделимую ветвь общерусского государственно-культурного организма. Он говорил о необходимости в русской империи иметь общегосударственный язык и единую науку и духовную культуру, объединяющую местные народные особенности, о бессмысленности и вредности дробления сил в попытке создания особой украинской науки или в переводах на украинский язык русских писателей. Этим он вооружил против себя не только украинцев, но и господствующее либеральное общественное мнение, которое рассматривало всякое противо-

действие федеративным стремлениям, как произвол и черную реакцию. Близкий друг П. Б., киевлянин, философ-юрист Богдан Кистяковский резко с ним разошелся и полемизировал по этому вопросу.

Мирное течение жизни было прервано одним политическим событием. В сентябре 1911 г. в Киеве, в театре, в присутствии царя, премьер-министр П. А. Столыпин был убит молодым террористом Богровым, проникшим в партер театра с удостоверением агента охранной полиции. Мне запомнилось возбужденное обсуждение П. Б. этого события в первую же мою встречу с ним по возвращении с летних каникул. Мы гуляли по лесу в Сосновке; в беседе участвовал и Г. Н. Штильман, который, в качестве киевлянина, был хорошо знаком с местной обстановкой и лично знал юношу-убийцу (из буржуазной еврейской семьи). П. Б. утверждал, что обстоятельства дела свидетельствуют, по меньшей мере, о небрежности и попустительстве охранной полиции — и, может быть, даже о преступной интриге с ее стороны. В этой связи разговор коснулся самой личности Столыпина и его политической судьбы. П. Б., как я уже упоминал, высоко ценил его государственную деятельность. Он говорил, что Столыпин изнемогал, не встречая поддержки в общественном мнении и находясь в постоянной борьбе против слабости и неустойчивости царя и даже его враждебности к себе. Он отметил своеобразие монархизма Столыпина: Столыпин из монархической преданности считал себя обязанным слепо исполнять волю царя даже там, где эта воля была, по его убеждению, гибельна для России и для самой монархии. П. Б. противопоставлял этому монархизм Бисмарка, который не стеснялся насиливать волю Вильгельма I, идти на открытый конфликт с ним, то есть считал долгом монархиста защищать интересы монархии против самого монарха. Трагическая судьба Столыпина была одним из первых ясных симптомов

разложения русской монархии, и П. Б. уже тогда был полон тревоги за будущее России.

В 1913 г., как я уже упоминал, П. Б. защищал на диспуте в Московском университете свою магистерскую диссертацию «Хозяйство и цена» — плод многолетних исканий и размышлений по теории политической экономии и истории хозяйства. Оценка этого труда, полного и совершенно оригинальных идей и огромной учености, не входит в мою задачу и превышает мою компетентность. Отмечу только общий, философский его мотив: П. Б. окончательно отказался в нем от всех методологических традиций и общих социологических предпосылок классической, то есть абстрактно-дедуктивной политической экономии, утверждавшей наличие общих, как бы предопределенных «законов» хозяйственной жизни и заменил их требованием отыскания эмпирически-статистически устанавливаемых закономерностей. Это направление идей П. Б. определено его общими социологическими и философскими воззрениями и стоит в тесной связи и с его политическими убеждениями, о чем еще придется говорить ниже. Защита диссертации в Московском университете не обошлась без тягостного инцидента. Хотя большинство членов факультета были почитателями П. Б., но нашелся один приват-доцент, Бобин, который яростно и неприлично напал на него. Здесь, очевидно, сыграли роль и политическая непопулярность П. Б. в среде радикальной интеллигенции, и обычные в факультетской жизни интриги. П. Б. был вообще принципиальным противником русской университетской системы «ученых степеней», особенно двух — магистерской и докторской; он считал ее признаком слабости русской научно-общественной культуры и признавал единственно правильной принятую в Германии систему, по которой право

на профессуру определяется только оценкой общих научных заслуг и трудов кандидата. В отношении самого себя, уже приобретшего общепризнанную репутацию выдающегося ученого, он по праву негодовал на унизительность и бессмысленность формалистики «защиты диссертации». После опыта магистерского диспута, он решил бросить умышленный и при этом двойной вызов русским университетским традициям, требовавшим, в качестве диссертации, непременно «толстой» книги и оценившим научную степень, дарованную столичным университетом, выше степени провинциального университета: в качестве докторской диссертации он представил совсем небольшую, в несколько десятков страниц книжку — часть второго тома той же книги «Хозяйство и цена», и защитил ее в 1917 г. в Киевском университете, у своего почитателя, проф. А. Д. Билимовича. Только после этого, согласно русским порядкам, он мог получить ординарную профессуру в Политехническом Институте.

В мае 1913 г. я, получив научную командировку для писания диссертации, уехал с семьей в Германию. На вокзале нас провожали П. Б. и Н. А., и П. Б. нас очень тронул тем, что в последнюю минуту перед отходом поезда с шутливой ужимкой бросил в купе игрушечных обезьянок — подарок на дорогу нашим детям. За время моей заграничной жизни (с весны 1913 г. до начала войны летом 1914 г.) у меня было две встречи с П. Б. Летом того же 1913 г. П. Б. вместе с Н. А. приехали к нам в маленький университетский город Марбург; подробности этого свидания не сохранились в моей памяти. Помню только, что П. Б. в то же лето подвергся операции (он страдал грыжей). Зато второе свидание зимой 1913-14 г., в Мюнхене, куда я переселился с осени, навсегда врезалось в мою память, как яркий эпизод и новый этап в истории нашей интимной дружбы.

П. Б. приехал на рождественские каникулы в том особом благодушно-веселом настроении, которое овладевало им в редкие дни, когда он давал себе отдых от занятий и общественных забот. Мы дружно и весело встретили русский Новый год в моей семье (при участии моего старого товарища, коллеги П. Б. по Политехническому институту, проф. В. Б. Ельяшевича). П. Б. водил меня и мою жену по мюнхенским театрам; мы были на опере Штраусса “Der Rosenkavalier” (П. Б. был плохой ценитель музыки — оперы Вагнера он называл «утонченной пыткой» — но он знал и ценил одноименную драму Hofmannsthal’я, на текст которой написана эта опера), и на трагедии ценимого им старого немецкого драматурга Геббеля “Agnes Bernauer” (П. Б. тогда же обратил мое внимание на замечательный дневник Геббеля, полный глубоких и интересных мыслей об искусстве, художественном творчестве и о конфликте у творческих натур между долгом творчества и обязанностями, налагаемыми жизнью — последняя тема интимно лично интересовала его); были мы и в каком-то народно-баварском опереточном театре. Но, помимо этого, П. Б. с самого начала своего приезда звал меня поехать с ним куда-нибудь отдохнуть; поглощенный напряженным трудом писания книги, я долго откладывал эту поездку, к неудовольствию П. Б. Сначала речь шла о поездке во Флоренцию; мое прозаическое собрание, что на это у меня не хватит денег, П. Б. весело-легкомысленно отвергал, как «несущественное», но потом сам решил, что во Флоренции мы потратили бы слишком много времени и сил на осмотр достопримечательностей. Наконец, мы поехали с ним в ближний, в двух часах езды, пограничный австрийско-тирольский городок Kufstein, где и провели три дня в полном уединении в уютной провинциальной гостинице, бродя по засыпанным снегом улицам живописного горного городка и часами

беседуя перед горящим камином столовой. Как всегда, П. Б. делился со мной своим огромным и бесконечно-многообразным запасом знания. Но центральным содержанием и как бы апогеем нашего общения был обмен интимными признаниями о личной жизни каждого из нас. В женской дружбе такого рода интимные признания — явление обычное; они даются легко, без особого напряжения, и часто даже не свидетельствуют об особой глубине отношений; но в дружеских отношениях между зрелыми мужчинами такого рода общение есть явление редкое; откровенные признания даются здесь с трудом; для них требуется не только безусловное взаимное моральное доверие, но и уверенность в подлинном интимном понимании, в некой глубокой внутренней созвучности душ. И в мужской дружбе такие редкие минуты полной интимности остаются незабываемыми вехами жизненного пути и становятся незыблемыми основами душевной близости на всю жизнь. Такое счастье, сравнимое только с счастьем интимной душевной близости в эротической любви между мужчиной и женщиной, мне довелось пережить в эти дни в Күфштейне. И мне дано было узнать П. Б. с новой стороны — заглянуть в глубину его сердца, узнать юношескую чистоту, юношеское горение души этого по внешнему облику рассеянного, равнодушного к личной жизни, погруженного в книги ученого и обремененного общественными заботами деятеля. Мы закрепили нашу дружбу — после уже 15 лет дружеских отношений — выпив «на брудершафт», и, душевно и физически освеженные, вернулись в Мюнхен. Вскоре после этого П. Б. уехал в Петербург, и я встретился с ним снова лишь в августе 1914 г., после начала войны, когда после долгого и сложного путешествия с семьей через Италию и Балканы (первого опыта «беженства» в моей жизни) я вернулся на родину. Мы не подозревали тогда, что наше беззаботно-радостное общение

на пороге 1913-1914 года было последним эпизодом нашей мирной жизни, совпавшим с концом целой исторической эпохи, и что нам предстоит отныне стать участниками и жертвами огромной мировой драмы, продолжающейся теперь уже 30 лет и конца которой не суждено было увидеть П. Б.

## VI. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ (1914-1918)

Вернувшись в Петербург в конце августа или в начале сентября 1914 г., я сразу же остановился в квартире П. Б. на Нюстадской ул. (семья моя уехала, до приискания и оборудования новой квартиры в Петербурге, к родителям моей жены в Саратов). Первые военные вести и впечатления я имел еще во время моего длительного путешествия: всенародный патриотический подъем и восторженные манифестации толпы во время приезда Государя в Москву (П. Б. позднее с горечью говорил, что это была «вспышка соломы» — *Strohfeuer*), зловещее, с смутными чувствами воспринятое переименование Петербурга в «Петроград» (немцы острили, что уже в первые дни войны они отняли у России Петербург) и жуткое известие о нашем большом поражении у Мазурских озер, всего через несколько недель после победоносного, казалось, вступления нашей армии в Восточную Пруссию. В пути же я прочитал воззвание верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича к полякам, обещавшее им восстановление их свободы и призывающее к сотрудничеству с русскими в борьбе против общего врага (это воззвание, как потом пришлось слышать, произвело сильное впечатление, по крайней мере, на часть польского общественного мнения). В Петербурге я узнал, что текст его был составлен совместно кн. Г. Н. Трубецким (директором ближне-восточного департамента мин. иностр. дел, потом посланником в Сербии) и П. Б.; я не сомневаюсь, что значительная доля его авторства принадлежала П. Б.

Я застал П. Б. в большом, естественном возбуждении, но полном надежд. От былого — в эпоху японской войны — «пораженчества» его, как и русского оппозиционного общественного мнения вообще, конечно, не осталось и следа (за исключением крайних левых партий, в то время ему уже совершенно чуждых и в тот момент, к тому же, не влиятельных). Все единодушно понимали все значение войны для будущих судеб России. П. Б. испытывал редкое в его жизни счастливое чувство своей солидарности с общественным настроением: всенародный подъем и установившаяся наконец солидарность правительства и общества в основной задаче защиты родины предвещали, как тогда казалось, внутреннее политическое обновление страны после победы над внешним врагом. Русская радикальная интеллигенция была захвачена несколько врасплох этой совершенно новой идеальной конstellацией, противоречившей всем ее давнишним, закоренелым понятиям и привычкам мысли («патриотизм» до того времени был на ее языке почти только бранным словом); и кроме того, новая атмосфера всенародного общего дела нарушила привычную, аристократически-обособленную жизнь интеллигенции, посвященную утонченным спорам по отвлеченным вопросам «миросозерцания». Зинаида Гиппиус призывала в Религиозно-философском обществе интеллигенцию «снизиться» до общенародных интересов. В Москве упомянутый мной выше В. Ф. Эрн прочитал в тамошнем Религиозно-философском обществе нашумевший доклад «От Канта до Круппа», в котором доказывал в высшей степени спорный тезис, что военная агрессивность немецкого народа, его неуважение к чужим правам, есть прямой итог опустошения, внесенного в германскую духовную жизнь рационализмом Канта (позднее он опубликовал брошюру под заглавием «Время славянофильствует», в которой доказывал, что ход событий обличил несо-

стоятельность западной духовной культуры и правду русской — тезис, явно несогласимый с выступлением России на стороне Франции и Англии против Германии). Так, вопрос о «смысле» или «оправдании» войны стал на очередь в умственной жизни интеллигенции. П. Б. созвал у себя на квартире собрание сотрудников «Русской Мысли» и идейно-близких ему людей, посвященное обсуждению этого вопроса. Беседа была оживленная и споры жаркие. Молодой религиозный философ Д. В. Болдырев доказывал, что Германия Вильгельма II духовно и морально выродилась, и что война имеет для России значение борьбы за христианские идеалы. Я сам развивал мысль, что оправдание войны предполагает объективную моральную расценку, на которой из двух воюющих сторон лежит ответственность за ее начало, и что для России война оправдана, как защита родины от неправого нападения. Упомянутый выше Д. Муретов защищал свою теорию о сверхэтическом оправдании национализма. Историк проф. Э. Д. Гримм заявил, что война есть «зоологическое явление» борьбы за существование, не требующее никакого морально-философского обоснования. П. Б. говорил мало и не развивал никакой философской теории; но мне запомнились его слова: «Я не испытываю ни малейшей ненависти к немцам и именно в этом ощущаю свою патриотическую силу». Вскоре после этого П. Б. напечатал в «Русской Мысли» упомянутую уже мною статью Муретова о национализме. Против идеи Муретова решительно выступил (в «Русской Мысли» же) кн. Е. Н. Трубецкой, обличая его учение, как «языческое», и П. Б. ему отвечал, доказывая совместимость национализма с христианской идеей всечеловечности. В течение этих военных годов П. Б. устраивал много-кратно и более тесные собеседования близких единомышленников, и более широкие собрания, посвященные темам внешней и внутренней политики. Помню од-

но такое собрание с участием братьев Евгения и Григория Трубецких, где обсуждался вопрос о судьбе Польши.

Именно с этой осени 1914 года я стал уже формально-организационно членом редакции: П. Б. поручил мне (о чем я уже говорил) чтение и оценку всех рукописей не-политического содержания, и мы стали аккуратно еженедельно встречаться для разбора рукописей и составления номеров журнала. В самом же начале войны ушел на нее добровольцем высоко-ценный П. Б. молодой экономист А. М. Рыкачев, ставший ближайшим сотрудником «Русской Мысли» и идейным единомышленником П. Б. Он вскоре же погиб на войне, и П. Б. тяжело переживал эту потерю.

Всенародный патриотический подъем и солидарность между правительством и обществом быстро начали спадать и ослабевать под влиянием военных неудач. Наше отступление летом 1915 г., уже походившее на катастрофический разгром, остро поставило вопрос о бюрократических непорядках, о беспомощности власти и неподготовленности страны к ведению войны. Возникший, если не ошибаюсь, с самого начала войны Союз земств и городов для помощи фронту, был дополнен созданием, тоже по общественной инициативе, Военно-промышленных Комитетов для упорядочения и усиления военного производства. Эти общественные организации, созданные для помощи правительству в деле ведения войны, скоро стали в оппозицию к кругам бюрократии. Во всех этих заботах П. Б. принимал, конечно, деятельное участие. Я не помню подробностей его общественной деятельности в это время, знаю только, что именно в эти годы он начал сближаться с кругами более правыми, в частности с А. И. Гучковым, игравшим большую роль в общественной организации военной промышленности, и с В. В. Шульгиным. Помню его реакцию на погром в Мон-

ске — кажется, летом 1915 года — немецких промышленных фирм и магазинов, выродившийся в безобразный всеобщий погром; было ясно, что «патриотизм» был здесь только предлогом для разнуздания анархического бесчинства черни. П. Б. писал мне об удручающем впечатлении, которое это событие произвело на него, как признак «нашей слабости».

Летом того же 1915 г., под впечатлением наших неудач и обнаружившейся большой немецкой силы, я написал и опубликовал в «Русской Мысли» статью «О духовной сущности Германии», в которой пытался уяснить духовный источник этой силы. В противоположность ходячим тогда обличениям Германии, я указывал на начало действенности, как на определяющий мотив немецкого духа, и на национальную укорененность кантовской идеи «категорического императива», как чувства долга, преодолевающего человеческую слабость. П. Б. очень пришлись по душе мои соображения. Осеню того же года, вероятно по его инициативе, мы оба были приглашены в Кружок Вл. Соловьева, собиравшийся в особняке кн. А. Д. Оболенского (бывшего либерального оберпрокурора Синода), где при участии сановных гостей (помню редактора «Петербургских Ведомостей» кн. Ухтомского и министра Земледелия А. В. Кривошеина) произошла оживленная беседа на тему моей статьи. П. Б. сошелся при этом с Кривошеиным в жалобах на распущенность и патриотическое равнодушие русского общества.

Горячая вера в русскую победу и в возрождение России после нее стала постепенно сменяться у П. Б. настроением патриотической тревоги и горечи; кажется, в 1916 г., П. Б. мне сказал: «В сущности, немцы уже победили; Союзники только не хотят признать этого факта». Огорчало его и все более заметное равнодушие общества к войне, захватывавшее и правительственные круги. Помню, как он возмущался, когда кто-

то из министров в частном разговоре сказал, что правительство решило не призывать студентов на военную службу, потому что «в обществе эта мера была бы непопулярна» (студенты были призваны на войну только под самый ее конец, и действительно весьма неохотно, только по принуждению, подчинились этому призыву). В 1916 г. произошла поездка П. Б. — в связи с его деятельностью, как председателя междуведомственного комитета по ограничению торговли неприятеля — в Англию и во Францию. С этим совпало избрание его в почетные доктора Кембриджского университета.

В 1915-16 гг. политическая атмосфера в России, как известно, все более сгущалась. Толки о всемогуществе Распутина, о его влиянии на все более учащавшуюся смену министров («министерскую чехарду», как тогда говорили), об его вмешательстве в чисто военные решения, о легкости, с которой этим пользовались немецкие шпионы, о слабости Государя — эти толки, постепенно превратившиеся в горькую очевидность — все более волновали и удручили общественные круги, одинаково и правые и левые. В течение 1916 г. эта патриотическая общественная оппозиция созрела и охватила все общество. П. Н. Милюков своей знаменитой думской речью о «глупости или измене», стал кумиром армии. В. А. Маклаков напечатал в «Русских Ведомостях» свою прошумевшую статью, сравнивавшую положение России с положением пассажира автомобиля, несущегося на краю пропасти и управляемого пьяным шофером. П. Б., конечно, с присущей ему горячностью и силой чувства переживал это трагическое состояние. После одного заседания Государственной Думы он сказал мне: «Дума стала на патриотическую позицию и потому непобедима». Всей силой своей страстной души он ощущал тогда патриотическую необходимость государственного переворота; патриоти-

ческая тревога, бывшая для многих либеральных и радикальных деятелей только прикрытием партийно-политических вожделений, была у П. Б. чувством, всецело его охватившим. Помню один эпизод. Как-то в 1916 г. П. Б. созвал у себя на квартире в Сосновке совещание близких ему людей и сотрудников «Русской Мысли», посвященное обсуждению политического положения. А. С. Изгоев высказал при этом — общераспространенное в то время — резкое суждение о поведении и характере Государя. Упомянутый выше Д. Муретов, монархически настроенный, сентенциозно заметил: «Империя невозможна без Императора; и потому имя Императора должно уважаться даже в частных беседах». Это замечание было искрой, от которой П. Б. весь загорелся. «Да, вы правы, — с горячностью ответил он Муретову, — но только за исключением того случая, когда сам Император изменяет своему долгу быть вождем Империи». И он разразился потоком страстных слов, после которых всякое дальнейшее спокойное обсуждение стало уже невозможным. И мы разошлись с чувством, что наша довольно далекая поездка из Петербурга в Сосновку свелась к выслушанию малоуместного политического нравоучения Муретова и страстной отповеди ему П. Б.

Из событий 1916 года я вспоминаю с благодарностью три эпизода, в которых выразилось дружеское расположение ко мне П. Б. В мае этого года состоялась, при большом стечении публики, публичная защита мною моей магистерской диссертации «Предмет знания». После затянувшихся на несколько часов прений с тремя официальными оппонентами, профессорами А. И. Введенским, И. И. Лапшиным и Н. О. Лосским, декан факультета Ф. А. Браун, по обычай, предложил желающим из публики принять участие в диспуте. В ответ на это поднялась фигура П. Б.; утомленный долгим диспутом Браун с явным неудовольствием предо-

ставил ему слово. П. Б., начав словами: «Я не задержу ни диспутанта, ни факультета» и, выразив лестное мнение о моей книге, напомнил, что я — по первоначальному образованию экономист, — «ученик незабвенно го А. И. Чупрова», и выразил надежду, что я от отвлеченных философских тем вернусь к научному творчеству в области общественных знаний. Осенью того же года П. Б. созвал частное совещание членов экономического отделения Политехнического Института, в котором внес предложение учредить при отделении штатную кафедру философии и выдвинул при этом мою кандидатуру, как единственного русского философа, обладающего образованием в области общественных наук. Как всегда, П. Б. руководился при этом соображением объективного порядка: он считал желательным расширить научный горизонт студентов-экономистов солидной философской подготовкой и по существу считал меня человеком, наиболее пригодным для этого. Но хотя большинство членов отделения знали меня и хорошо ко мне относились (с некоторыми из них я поддерживал дружеские отношения, и уже с 1914 г. мне было поручено, на правах внештатного преподавателя, чтение лекций по философии для студентов отделения), предложение П. Б. было отклонено — большинство членов отделения не имело никакого интереса к философии и считало более настоятельным расширение программы преподавания иными, специальными кафедрами. Третий эпизод касается исключительно моей частной жизни; я привожу его, как образец деликатности П. Б. в личных отношениях. Как-то в течение зимы 1916-17 г. мы с женой, подведя итоги нашему бюджету и убедившись, что, в виду большого повышения цен, моего заработка не хватает для покрытия наших расходов, решили сдать в наймы одну комнату нашей квартиры — решение, казавшееся, при тогдаших привычках жизни, тягостным и героиче-

ским. Мы как-то говорили об этом с семьей Струве. На следующий же день, вернувшись вечером домой, я узнал, что П. Б. звонил мне по телефону, пытался разыскать меня по всему городу и просил немедленно позвонить ему по телефону. На мой телефонный запрос, в чем дело, П. Б. мне ответил: «Я хотел тебе сообщить, что я решил повысить твоё жалованье, как члена редакции». Он, очевидно, торопился уведомить меня об этом, чтобы успеть предупредить наше решение сдать комнату.

Накоплявшаяся политическая гроза разразилась, наконец, в революции последних дней февраля 1917 года. Начавшись с забастовки рабочих из-за продовольственных трудностей и с уличных манифестаций, она в течение двух-трех дней, с отказом казаков разгонять толпу и особенно с выходом из казарм Волынского и Финляндского полков, превратилась в грозный все-разрушающий ураган, сразу сметший с лица русской земли 300-летнюю монархию Романовых. П. Б., со своей активностью, сразу же очутился в эти дни в Таврическом дворце, в Государственной Думе, которая, как известно, оказалась в плену у нахлынувших в нее толп взбунтовавшихся солдат и отрезанной от внешнего мира. П. Б. пережил там образование Комитета Государственной Думы и известие об отречении Государя. Позднее он рассказывал мне, что В. В. Шульгин, тоже засевший там, вспоминая борьбу Думы против Николая II и глядя на анархическую стихию, их поработившую, повторял чье-то изречение: «И злая тварь милее злайшей». Таково же, очевидно, было настроение и П. Б. Но все же, выйдя из осажденной Думы, под первым впечатлением от неожиданного освобождения России от ига разложившейся власти и бюрократической опеки, он короткое время был полон надежд. Первые слова, сказанные им мне при встрече в эти дни, были: «Теперь Россия пойдет вперед семи-

мильными шагами». (Когда я позднее, встретившись с ним в эмиграции, напомнил ему об этом, он ответил мне лаконической репликой: «Дурак был»). Настала пора безумия, в течение которой охватившее всех на несколько дней настроение радости и надежд сразу же стало отравляться жутким ощущением надвинувшейся анархии; чернь, расхватывавшая разбросанное по городу оружие, солдаты, нагло разгуливавшие сознанием совершенного ими «геройства» революции, освободившего их и от страха наказания, и от обязанности служебной дисциплины, страшные вести о зверских убийствах в Финляндии матросами офицеров — все это создавало неотразимое впечатление, что Россия катится в бездну. Вскоре в эти же дни П. Б. снова заехал ко мне вместе с академиком Сергеем Федоровичем Ольденбургом; он приехал звать меня на какое-то собрание или митинг, помнится, в Городской Думе — не помню, по какому поводу и какого содержания; все тогда перепуталось в водовороте всеобщего безумия. Помню, мы ехали на каком-то казенном автомобиле, на подножках и крыльях которого, по обычаю тех дней, стояли и лежали солдаты с ружьями на прицел — неизвестно в кого. Но мне запомнились горькие слова П. Б.: «Они (старые бюрократы) не хотели реформ, боялись нас и получили теперь Ахерон».

Когда, при образовании Временного правительства первого состава, Милюков занял пост министра иностранных дел, он обратился к П. Б. с предложением стать директором экономического департамента министерства. П. Б. говорил мне, что именно потому, что он политически разошелся с Милюковым и что их личные отношения были лишь холодно-корректными, он счел для себя морально-невозможным отказаться помочь Милюкову в это трудное и ответственное время. Он принял предложение, взял себе в помощники ряд молодых экономистов из своих учеников и со свойст-

венной ему энергией принял заново организовывать работу департамента. Так и П. Б., наряду со множеством других либеральных общественных деятелей и профессоров, наших общих друзей, суждено было в эти смутные дни призрачного обновления русской государственной машины, войти в ряды правящей бюрократии. Но не надолго. Когда Милюков в апреле, после враждебной уличной демонстрации толпы в ответ на его публичное заявление о продолжении Россией войны на стороне союзников, вышел в отставку, П. Б. тотчас же ушел из министерства вместе с ним. Он с юмором рассказывал мне, как некоторые из его молодых помощников, очевидно дорожа неожиданно выпавшими на их долю «теплыми местами», не пожелали уйти вместе с ним и в прощальной приветственной речи ему мотивировали это решение замысловатыми и напыщенными политическими соображениями. «В прежние времена, — сказал он мне при этом, — люди были проще: они в таких случаях откровенно говорили, что служба нужна «детишкам на молочишко».

Но если бюрократическая служба была лишь коротким эпизодом в его тогдашней жизни, то он продолжал в других формах напряженную политическую деятельность. После первых дней оптимизма, он сразу же остро ощутил смертельную опасность революции и ринулся в борьбу против нее. Он сразу же стал открыто говорить, что слухи об изменническом поведении прежних придворных и бюрократических кругов были лишенооснования клеветой и что, напротив, действительными носителями измены являются революционеры. Его глубоко возмущали ненужные после крушения монархии аресты прежних бюрократов и произвол и тенденциозность при допросах их в учрежденной тогда «Следственной Комиссии» (бывшей, хотя и в слабой форме, духовным прототипом «Чеки»). С горечью указывал он, как неожиданно воочию оправда-

лась его давнишняя мысль, что подлинная опасность грозит России не справа, а слева (мысль, которой он отвечал на известную, — заимствованную из времен французской революции — формулу Милюкова: «У нас нет врагов слева»). При этом, как всегда, П. Б. находил ненужным и даже морально недостойным считаться с трудностью политического положения, с состоянием общественного мнения, а, напротив, считал долгом бросать ему вызов своими обличениями. В этом сказывалась вся его натура и лежал источник трагизма его судьбы: он всю жизнь рвался к практической политической деятельности, но она ему никогда не удавалась, потому что его моральная природа была совершенно лишена тех элементов цинизма, приспособляемости, гибкости, без которых не может обйтись политический деятель. Как политический мыслитель, он был принципиальным противником крайности и по моральным и социально-философским соображениям был всегда сторонником и провозвестником «реальной политики», необходимости считаться с реальными нуждами и слабостями человеческой природы. Но как деятель, он был не «реальным политиком», а существом строго-принципиальным, существом, проникнутым моральным пафосом, проповедником, беспощадным обличителем, на манер ветхозаветных пророков, и потому был обречен на непопулярность, был всегда «побиваем камнями».

На эти же «дни свобод» приходится событие, в котором научные заслуги П. Б. получили признание со стороны высшей в России научной инстанции. Он был избран членом Российской Академии Наук. Это дало П. Б. глубокое моральное удовлетворение; кроме того, перед ним, казалось, открывалось новое поле деятельности; он наверное со свойственной ему энергией отдался бы организации научных экономических изысканий и играл бы большую роль в научной деятельности

Академии вообще. Но этим мечтам не суждено было осуществиться — П. Б. не пришлось уже участвовать ни на одном заседании Академии.

В первые же недели революции П. Б. решил издавать при «Русской Мысли» политический еженедельник «Русская Свобода»; я принимал в нем самое деятельное участие, и даже вся техническая редакционная работа практически лежала на мне, в виду политической занятости П. Б. Это было как бы возрождением, во вторую русскую революцию, «Полярной Звезды», которую мы вместе издавали за одиннадцать лет до этого. П. Б., кажется, рассчитывал на широкое распространение и влияние этого еженедельника — в ту пору Россия была наводнена политическими брошюрами и маленьными журнальчиками всякого рода. «Русская Свобода» была еженедельным альманахом политических статей единомышленников П. Б.; она была целиком посвящена обличению разлагающих тенденций революции. В этом мы все, его друзья и сотрудники, были с ним принципиально согласны; но многие из нас тщетно пытались уговорить П. Б., что, в интересах практической влиятельности наших идей, нужно смягчать тон обличения. У меня было тогда острое чувство бесполезности этого начинания; я говорил П. Б., что мы делаем безнадежную попытку листами «Русской Свободы» заткнуть прорвавшуюся плотину огромного бушующего потока. Но когда П. Б. считал что-нибудь своей обязанностью, он не был в состоянии призадумываться над реальными шансами на успех.

В это же время П. Б. задумал создать — в противовес разлагающему влиянию антипатриотических и интернационалистических идей — некий идеальный центр для духовно обоснованного патриотизма. Замысел этот он выразил в развитой им программе «Лиги русской культуры» — организации, которая должна была объединить все общественные слои, дорожащие тра-

дициями русской духовной культуры, и тем стать оплотом некоего национального возрождения. В «Русской Свободе» был напечатан — составленный после ряда совещаний, в которых принимал участие между прочим и председатель Государственной Думы М. В. Родзянко — устав Лиги; были назначены приемные часы для желающих вступить в ее члены. Замысел этот имел по тому времени относительно изрядный успех; в приемной П. Б. толпились десятки людей, желавших записаться в Лигу, и получалось много письменных заявлений. П. Б. переписывался также по этому делу с некоторыми известными писателями. Помню его переписку с поэтом Блоком, которого он приглашал принять участие в Лиге; Блок отказался, ссылаясь на «странный» факт, что в Лиге участвует Родзянко, но не участвует Максим Горький (тогда стоявший во главе большевистской газеты). П. Б. прочел мне свой ответ Блоку; он указывал, что «ужас положения» в том и состоит, что такой русский писатель, как Горький возглавляет явно антинациональное движение. П. Б. сам шутя говорил, что Лига русской культуры есть в иностранных словах выраженное понятие Союза Русского Народа — название пресловутой «черносотенной» организации. В этой шутке содержалась горькая мысль, что в старой России патриотизм и национальное сознание стали монополией демагогических реакционных кругов — тогда как носители русской культуры и освободительных идей его чуждались. Но, конечно, и этому доброму начинанию, как и многим другим, суждено было вскоре потонуть в водовороте политического безумия того времени.

Весной 1917 г. приезжал в Петербург знаменитый чешский философ и политик, будущий президент республики, Томаш Масарик, с которым П. Б. был знаком уже раньше. П. Б. устроил в его честь завтрак в «Европейской гостинице», на который пригласил ряд

общественных деятелей и философов. Масарик поразил нас контрастом между его духовной направленностью и нашей. Одобряя стремление к религиозному возрождению русской интеллигенции, он горячо предупреждал нас против опасности «клерикализма» — главного врага прогресса и культуры. Написав книгу по истории русской мысли, Масарик, как тут обнаружилось, ничего по существу не понимал в наших духовно-общественных нуждах; некоторые из нас в вежливой форме дали ему это понять.

Летом 1917 года наши обе семьи жили вместе в имении около станции Усикирко в Финляндии, в двух часах езды от Петербурга. П. Б. только по временам на короткий срок наезжал туда, проводя остальное время в Петербурге. Я постоянно ездил в Петербург по делам редактирования «Русской Мысли» и «Русской Свободы». В то лето оба старших сына П. Б. ушли добровольцами на войну — русская патриотически настроенная молодежь старалась тогда личным примером противодействовать все более распространявшемуся пораженчеству. Я помню, как П. Б. возмущался, что на вокзале при проводах уходившей на войну молодежи даже военные употребляли в речах принятую тогда формулу «на защиту революции».

В условиях того времени для осмысленной политической деятельности людей воззрений П. Б. не оставалось места. По меньшей мере со времени ухода Временного правительства первого состава и начала «диктатуры» Керенского, всем, не охваченным волной демагогического безумия, стало ясно, что под оболочкой фразеологии о свободе, возрождении и патриотическом подъеме, происходит неудержимый процесс государственного разложения России, и что Россия катится в бездну. Многие либеральные деятели в эти дни считали в этих условиях необходимым все же поддерживать Керенского, как единственного челове-

ка, популярность которого имела, как им казалось, шансы сдержать грозно нараставший поток большевизма; по этим соображениям они находили нужным участвовать в тогдашнем шумном, совершенно безмерном и безвкусном прославлении его имени, как вождя и спасителя России. П. Б. отчетливо сознавал опасность такой позиции. Своим политическим друзьям он неустанно советовал: «Поддерживайте Керенского, но не создавайте ему рекламы». Когда в июне 1917 г. Керенский, в качестве «верховного главнокомандующего», предпринял новую попытку наступательного движения на одном участке фронта русской армии, многим казалось, что этим спасена, по крайней мере, честь России. П. Б. не разделял этого мнения. Он говорил нам, что военные указывали Керенскому на безумие и преступность этой бессильной попытки; и действительно, кучка геройской молодежи, двинувшаяся в атаку, не поддерживаемая солдатами, решительно отказавшимися в ней участвовать, была обречена на бессмысленную гибель.

Новая надежда на спасение явилась осенью в форме так называемого «Корниловского» движения — попытки популярного военного героя ген. Корнилова насильственно обновить правительство, удалив из него предателей и пораженцев. Быстрое крушение этой попытки, удручившее патриотические круги, П. Б. не воспринял трагически. В оценке этого события сказался свойственный ему оптимизм — склонность верить в успех того, чего он сам страстно желал. Мне отчетливо запомнилось, как, вернувшись в эти дни из Петербурга в Усикирко, он сказал: «Это была Нарва русской контрреволюции, за которой вскоре последует ее Полтава».

Но это настроение оптимизма было тогда у П. Б. только короткой вспышкой; им все более овладевало чувство скорби, горечи и негодования при виде ра-

стущего разложения России. Из времен той же осени 1917 г. — уже после нашего возвращения из Финляндии в Петербург — мне вспоминаются два высказывания П. Б. Однажды я сказал ему, что бесчинства революции должны неизбежно привести к жестокой реакции. С необычайной даже для него горячностью он воскликнул: «Что там реакция! Иоанн Грозный — молния с неба — вот что было бы адекватно творящейся мерзости!» Другой раз, придя ко мне, присев к моему письменному столу и облокотившись на него, он грустно произнес глубоко поразившие меня слова: «Неужели на старости лет нам снова придется стать революционерами?» В этом скорбном, обращенном к себе самому, вопросе сказался весь П. Б. — его личное влечение к мирному научному и культурному творчеству, горечь от крушения надежды, что Россия с 1905 г., хотя и с колебаниями, вышла на путь мирного политического развития, и вместе с тем сознание обязательности подчиниться властному голосу долга, призывающего снова кинуться в революционную борьбу против новых темных сил, завладевших Россией.

Летом того же 1917 г. тогдашнее либеральное министерство народного просвещения, состоявшее из наших старых друзей и коллег (министром был с июля 1917 г. С. Ф. Ольденбург, товарищем ministra по делам высшей школы — проф. В. И. Вернадский), предложило мне стать деканом и ординарным профессором впервые открытого и организуемого им историко-филологического факультета Саратовского университета. Перспектив на возможность мирного научного труда в Петербурге при тогдашней разрухе оставалось мало; продовольственные трудности ставили вопрос о возможности прокормления детей в Петербурге. П. Б. усердно советовал мне принять предложение, несмотря на мои колебания покинуть столи-

цу; он говорил, что в Петербурге делать нечего, и кроме того находил, что предложенная мне должность может мне послужить «хорошим трамплином». Я принял предложение и в сентябре 1917 г., уже на кануне большевистской революции (угроза которой уже нависла в воздухе, но легкого и прочного успеха которой еще никто не предвидел) переехал с семьей в Саратов. Мне не пришлось проститься с П. Б. — повидимому, его тогда не было в Петербурге; кажется, он был в Москве. Я не думал тогда, что расстаюсь с ним на целых пять лет и что нам суждено свидеться только в эмиграции.

Я не знаю подробностей жизни П. Б. в период 1917-18 гг. Позднее я узнал, что в конце 1917 г. он был в Ростове, участвуя в Совете Добровольческой Армии, и после оставления армией Ростова вернулся (вместе с кн. Г. Н. Трубецким и Н. С. Арсеньевым) на лошадях в Москву (в феврале 1918 г.). Издание «Русской Мысли» прекратилось весной 1918 г. Весной и летом 1918 г. между нами снова завязалась связь по новому задуманному им литературному начинанию. Я получил от него письмо, в котором он приглашал меня написать статью в сборник, в котором бывшие участники «Вех» (кроме Гершензона, ставшего нам политически совершенно чуждым) и многие другие писатели должны были дать принципиальное обоснование своего отрицания большевизма. П. Б. писал мне, что предполагается, что каждый из нас «скажет то, что ему подсказывает совесть и разум». Было принято предложенное мною название сборника «Из глубины». Я дал статью под тем же заглавием “De Profundis”. Я не помню полного состава сотрудников и содержания их статей, в том числе и П. Б. Сборник этот имел своеобразную судьбу. Когда осенью 1918 г. разразилась, после покушения на Ленина, первая волна большевистского террора, сборник как раз был за-

кончен печатанием и лежал в типографии Кушнарева. Было решено, что выпустить его в свет при тогдашних условиях невозможно. Через три года после этого, в 1921 г., один из моих саратовских коллег, приехав из Москвы, сообщил мне, что сборник вышел и распространяется в Москве — известие довольно жуткое по тому времени. Оказалось, что наборщики типографии Кушнарева самовольно пустили его в продажу. Дальше Москвы распространение его не пошло, и в самой Москве он разошелся по рукам, кажется, даже не попавши в книжные магазины. Нас, оставшихся в России его сотрудников, спасло, вероятно, то, что на обложке остался помеченный год издания — 1918. Сборник этот есть теперь величайшая библиографическая редкость; в Москве он был в личной библиотеке Н. А. Бердяева, который привез его в эмиграцию. В начале 30-х годов я рассказал о нем моему приятелю, профессору русской литературы Амстердамского университета Бруно Борисовичу Беккеру. Заинтересовавшись им, он сделал попытку выписать его из Москвы, через советское книжное агентство «Книга», и действительно его получил.

Тем временем П. Б., как я знаю из его позднейших рассказов и рассказов его друзей, жил в Москве, где должен был скрываться от большевиков. Его огромная библиотека на квартире в Петербурге была спасена от разграбления по личному распоряжению Ленина, — телеграфно приказавшего отдать ее — если не ошибаюсь — в Публичную библиотеку. Один из его бывших учеников сбрил ему бороду; но П. Б. продолжал свободно разгуливать по Москве и даже громко рассуждать на улице. Свидетели его тогдашней жизни говорили мне, что узнать его было нетрудно, и что если он избегнул тогда ареста, то только потому, что большевистская власть, по каким-то соображениям, решила воздержаться от ареста. Потом

П. Б., как я узнал позднее, скрывался в деревне в одной из северных губерний, а затем перешел финляндскую границу. Побывав в 1919 г. короткое время в Париже членом Политического совещания (по назначению адмирала Колчака), он снова едет в Россию — именно в Ростов, где издает газету «Великая Россия», и затем вместе с армией попадает в Константинополь. О дальнейшей его деятельности в Белой армии при ген. Врангеле я знаю лишь немногое и только из его же рассказов и потому не буду здесь о ней говорить. В Москве до меня доходили номера «Русской Мысли», которую П. Б. начал снова издавать в Софии. В августе 1922 г. (с осени 1921 г. я переселился в Москву) я вместе со многими другими писателями и учеными был арестован на несколько дней и приговорен к высылке из России; как раз в день выхода из тюрьмы я получил привезенную кем-то короткую записку П. Б. Она кончалась словами: «Да хранит Бог всех верных друзей» и была подписана инициалом П.

## VII. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ. НАШЕ РАСХОЖДЕНИЕ (1922-1927)

В течение моего многолетнего умственного и духовного общения с П. Б. я смылся с сознанием, что его независимой, беспристрастной, проницательной мысли, его направленности на объективное восприятие реальности, как и его чувству моральных и духовных ценностей, присущ дар подлинной интуиции правды. Это сознание было во мне не каким-либо слепым доверием к его идеям; оно было основано на длительном опыте совпадения его интуиций с моим собственным видением правды. Так установилась между нами глубокая солидарность — не столько в области теоретических, научных и философских воззрений (где я, как я уже указывал, напротив, во многом существенно расходился с ним), сколько в общей духовной установке, в наших моральных устремлениях и верованиях и, в силу этого, в области политических убеждений.

В этой последней области позиция, на которой мы солидарно были незыблемо утверждены, была позднее сформулирована П. Б., как «либеральный консерватизм» или «консервативный либерализм» — как убеждение в неразрывной связи между свободным творчеством прогресса и преемственностью жизни и культуры. (Дизраэли выразил это воззрение в блестящей краткой формуле: «народы управляются только двумя способами — либо традицией, либо насилием»).

Эта идеяная солидарность и в ее общем духовном существе, и в ее практически-политических выводах действительно непрерывно сохранялась между нами на всю жизнь. Естественно поэтому, что и наша принципиальная реакция на большевизм — и при первом его нарастании, и при горестном для России его торжестве — была и осталась совершенно тождественной; она состояла, конечно, в безусловном его отвержении, в обличении его зла и неправды; она нашла свое литературное выражение в упомянутом только что нашем сотрудничестве в сборнике «Из глубины» в 1918 году. Но огромный политический и социальный катаклизм русской жизни все же — я думаю, совершенно неожиданно для нас обоих — потряс нашу, казалось, незыблемую идеиную солидарность: вскоре обнаружилось, что конкретно мы по-разному восприняли совершившееся и реагировали на него. Отчасти это было определено чисто внешним различием наших судеб: П. Б. уже через год после революции покинул большевистскую Россию и кинулся в Белое движение; мне суждено было в течение еще пяти лет вывариваться в большевистском кotle и близко наблюдать стихийно-народную подоплеку русской революции; в силу этого мы имели разный опыт; и наше разногласие было частью обнаружившегося в те годы общего разногласия между «старой» уже эмиграцией, сразу покинувшей Россию, и нашей группой писателей и мыслителей, присоединившейся к эмиграции только в 1922 г., после нашей высылки из России. Так я в те годы сам понимал источник обнаружившегося между нами разногласия; позднее, однако, я осознал, что как самое это различие наших внешних судеб в те страшные годы 1917-1922, так и различие между идеиными выводами, к которым мы пришли отчасти под его влиянием, в конечном итоге были определены разли-

чием наших темпераментов и духовных натур. П. Б. был прежде всего действенной натурой, моральным борцом; моральное отвержение большевизма, сознание необходимости активной борьбы с ним охватило все его существо с такой силой, он испытывал такой огромный моральный «шок», что именно этим было в сущности определено его отношение к совершившемуся в России; не только чисто теоретическое, познавательное восприятие действительности — к которому он, вообще говоря, обладал таким выдающимся дарованием — должно было в нем стущеваться, отойдя на задний план перед моральной оценкой, но под влиянием испытанного им горестного удара, он, как мне кажется, на время — я готов сказать — потерял душевное равновесие, в значительной мере утратил присущую ему широту и свободу мысли. Я, напротив, при всем моем моральном отвращении к большевизму и принципиальном его осуждении, остался его «созерцателем» и старался — по Спинозовскому принципу «не плакать, не смеяться, не ненавидеть, а понимать» — прежде всего объективно ориентироваться в происшедшем, понять общую социологическую природу, исторические причины и исторический смысл переворота. Я и теперь думаю — и, мне кажется, позднейшие события подтвердили это, — что выводы, к которым я пришел в порядке объективно-познавательном, были вернее суждений П. Б. о том же.

Из наблюдений над жизнью я, коротко говоря, пришел к следующему убеждению. Большевизм, в смысле марксистского коммунизма, был только извне навязанной идеологической «оболочкой» русской революции, исказившей ее существо; под этой официальной оболочкой совершился переворот совершенно иного смысла и содержания — переворот, обусловленный всем ходом русской истории и потому

совершенно неизбежный и в этом относительном смысле и оправданный. А именно, так как власть и руководящие слои общества опоздали привлечь крестьянскую массу к подлинному, реальному равноправию и приобщению к культуре, эта масса, в которой накопилась вековая обида на «бар» и постепенно укреплялось сознание, что она есть истинный хозяин русской земли, сразу и в революционно-насильственном порядке опрокинула старый социально-политический строй, смела чуждый ей образованный класс и стала сама самодержавным властелином. Так как единственное начало, прежде связывавшее народные массы с высшими слоями общества — монархия — окончательно себя скомпрометировало, то его место заняла торжествующая, победоносная, всероссийская «пугачевщина» — культурно-разрушительная и безобразная по своим непосредственным внешним проявлениям (и к тому же искаженная своей коммунистической оболочкой), но смутно таящая в себе зародыши будущего положительного обновления русской жизни. Практически-политический вывод, к которому я пришел отсюда, состоял в том, что Белое движение, в значительной мере рекрутировавшееся из представителей прежних господствующих классов, с самого начала было обречено на неудачу; единственная возможность спасения России в первые годы большевизма лежала бы в неком антибольшевистском крестьянском движении под лозунгом «земля и свобода», движении, руководимом каким-либо гениальным политиком-демагогом. Раз это не осуществилось, оставалось теперь только ждать, что русский народ в медленном процессе внутреннего оздоровления переболеет уродство большевизма и изнутри взрастит в себе начала здоровой демократической культуры. (Эти взгляды я изложил в статье «Из размышлений о русской революции», написанной в 1922 г. по приезде заграницу; П. Б.

со свойственной ему широтой мысли, принял ее в издававшуюся им тогда «Русскую Мысль», хотя был решительно не согласен с моими мыслями).

Я должен был так подробно остановиться на этих, моих собственных идеях, потому что только в связи с ними я могу разъяснить и мое тогдашнее расхождение с П. Б., и его духовное состояние и идеиную направленность того времени. Приехав в Берлин и узнав адрес П. Б. в Праге, я тотчас написал ему, сообщая ему о своем прибытии заграницу, и сразу же коротко уведомил его, что, будучи вполне с ним солидарен в принципиальной оценке большевизма, я существенно расхожусь с ним в конкретном понимании совершившегося и тактической установке в отношении его (об его взглядах я знал по дошедшем до меня еще в Москве номерам заграничной «Русской Мысли»). П. Б. ответил мне, что, раз мы сходимся в основном, нам легко будет договориться о деталях. «Основное» было для него именно моральное отвержение большевизма; все остальное представлялось ему по сравнению с этим именно несущественными «деталями». Я, к сожалению, сознавал дело иначе и в самом этом ответе почувствовал типичное «революционное» умонастроение, которого я не мог разделять.

Я понял тогда же, что П. Б. всей своей горящей душой стал, так сказать, «революционером контрреволюции». На этом пути я не мог следовать за ним. Все те принципиальные возражения против «революционности» вообще (независимо от конкретного содержания политического идеала революции), которым некогда он сам меня научил и в которых мы потом совместно и солидарно прочно утверждались за долгие годы нашей близости и нашего общего духовного развития, поднимались в моей душе и продолжали

в ней действовать и в отношении «белой» антибольшевистской «революционности».

Вскоре я свиделся с П. Б. Узнав, что он приехал в Гейдельберг к проживавшему там в то время сыну Константину, я в ноябре 1922 г., решил поехать туда, чтобы при личном свидании в обычной для нас долгой устной беседе «выговориться» и, если это возможно, «договориться» и восстановить нашу тесную идеиную солидарность. Мы встретились, само собой, радостно, как старые друзья после долгой разлуки. Я торопился и торопил П. Б. начать разговор по существу; но я чувствовал, что ему было трудно приступить к нему. Дружеское чувство ко мне явно боролось в его душе с его бурным протестом и даже возмущением против того, что он ощущал, как мою новую, морально неприемлемую для него установку. Наконец, трогательно смущаясь и краснея, он заявил, что ему совершенно непонятно «наше морально первое (одно из любимых его слов) отношение к советскому строю». Он говорил: «ваше отношение», имея в виду, что не я один, а (как я уже упоминал) многие из нас, проживших в России до 1922 г., разошлись во взглядах с деятелями Белого движения (он уже виделся с другим давнишним своим ближайшим сотрудником, А. С. Изгоевым, который, несмотря на исключительно жестокие испытания, перенесенные им в Советской России, разделял мои взгляды; знал он тоже, что и Н. А. Бердяев, который в первые годы революции был решительным противником большевизма, занял теперь такую же непонятную ему позицию). Я пытался подробно обосновать ему те убеждения, к которым я пришел на основании наблюдений над революцией и размышлений о ее причинах и смысле. Но я чувствовал, что все мои соображения от него отскакивают, что его напряженная волевая установка не позволяет ему призадуматься над

ними. Он решительно отвергал, как праздное пустословие, то, что он иронически называл «социологией русской революции», т. е. все указания на общие, исторические причины ее успеха. Он доказывал, что Белое движение провалилось (впрочем, по его убеждению, только временно) и большевизм восторжествовал только в силу ряда частных, случайных тактических ошибок вождей Белого движения. Так, он утверждал, что, если бы Деникин (как П. Б. ему советовал) вместо морально и политически неустойчивых казаков создал регулярную кавалерию, он легко мог бы разгромить большевиков. Говорил он также, что генералы оказались не в состоянии понять, что Гражданскую войну надо было вести не по обычным правилам военной стратегии, а с помощью революционных мер — например, секретной посылки в Москву отряда заговорщиков, которые легко могли бы поднять вооруженное восстание и захватить врасплох власть. У П. Б. эти взгляды связывались отчасти с его философским и социологическим «плюрализмом» и «эмпиризмом» — с воззрением, что ход жизни определяется столкновением множества единичных, «случайных» мелких факторов. Но, главным образом, они были основаны на самом революционном опыте и на революционной личной установке. Тогда не он один, а многие, под впечатлением неожиданных и случайных поворотов в бурном течении событий, приходили к убеждению, что ход истории есть как бы дело человеческого произвола и в значительной мере зависит от умелости и неумелости замыслов и ошибок отдельных его участников и творцов (известно, что это убеждение разделял и Ленин, говоривший после опыта революции: «мы (марксисты) недооценивали роль личности в истории»). Я готов был признать — да и теперь признаю, — что это воззрение содержит некоторую долю истины, но я отказывался и отказы-

ваюсь придавать ему универсальное значение; ни религиозно-морально и философски, ни эмпирически-социологически я не мог допустить веры во всемогущество самовольной, умышленной политической деятельности и закрывать глаза на определяющее действие великих и глубоких общих исторических сил и условий, в лице которых как бы совершается суд истории — суд Божий — над человеческими судьбами. Я указывал П. Б., что человеческому произволу удается иногда легко разрушить многое, но что положительное политическое творчество требует смиренния, покорного учета «богоданной» реальности. Я прямо ему говорил, что не я, а он изменил свою основную установку, и что он в своем новом умонастроении впадает в давно обличенную им ложь «бланкизма», «бунтарства».

Но, повторяю, переубедить его было невозможно; он горел душой, и это горение непреодолимо влекло его мысль в одном — «революционном» — направлении. Лишь позднее от Нины Александровны я узнал, что, давая ей в письме отчет о нашем свидании, он признал за мною некоторую «тонкость мысли». Мы ни до чего не договорились, хотя беседа наша на эту тему продолжалась два-три дня и позднее не раз возобновлялась. П. Б. вместе со мной поехал в Берлин. Помню еще одно идеиное столкновение с ним уже в Берлине. Когда я как-то в его присутствии начал снова излагать свои соображения о необходимости считаться с настроением народных масс в России, П. Б., вдруг вспыхнув, воскликнул: «Ты поклоняешься селедке — и к тому же тухлой селедке». Я отвечал ему, что, если вся Россия есть «тухлая селедка», то оставалось бы только махнуть на нее рукой; что же касается живой «селедки», то когда она весной миллионами идет в Волгу метать икру, это есть, несмотря на все ничтожество селедки, великий космиче-

ский факт, с которым рыболов должен считаться, если не хочет остаться с пустыми руками. Но П. Б. только иронически усмехнулся.

В эти же дни П. Б. устроил — в квартире Н. А. Бердяева — совещание между приехавшими из России лицами и его единомышленниками по Белому движению. В числе участников совещания были, кроме П. Б., Бердяева и меня — еще В. В. Шульгин, И. М. Биккерман, Г. А. Ландау, И. А. Ильин, А. С. Изгоев. П. Б. открыл совещание характерными для его умонастроения словами: узнав, что прибывшие только что из Советской России друзья не понимают значения Белого движения, он счел необходимым свести их с деятелями этого движения, чтобы постараться устраниТЬ возникшее недоразумение. Я сразу же заметил ему, что считаю искусственным и нецелесообразным такое сужение нашей беседы; Белое движение, как бы к нему ни относиться, есть только средство, а не цель; встретившись после долгой разлуки, в течение которой мы имели разный опыт этих бурных лет, мы, естественно, должны были поделиться мнениями на основную тему о судьбе России и смысле совершившегося в ней. Фактически разговор пошел все же по руслу оценки Белого движения. И. А. Ильин — один из немногих, прибывших из России безусловных приверженцев Белого движения — произнес, по своему обыкновению, красивую патетическую речь; он восхвалял моральную красоту Белого движения, как борьбу за право «умирать за родину» (имея в виду борьбу против пораженчества большевизма в немецко-русской войне). П. Б. сразу загорелся от этих слов; он признал себя «потрясенным ими», и этим признанием и указанием на моральную правоту защищаемого им дела исчерпывалось то, что он имел нам сказать. А. С. Изгоев и я снова развили наши соображения о более глубоких причинах обнаружившейся неудачи Белого движения. Раз-

говор принял драматический характер с бурного вмешательства в него Н. А. Бердяева, который с страстным возбуждением и в очень резкой форме начал упрекать сторонников Белого движения в «бездожии» и «материализме» — именно в том, что они возлагают все свои надежды на внешнее, насильтственное ниспровержение большевизма, не учитывая его духовных источников и не понимая, что он может быть преодолен только медленным внутренним процессом религиозного покаяния и духовного возрождения русского народа. Меня поразила реакция П. Б. на это выступление Бердяева. Оно его, конечно, тоже не переубедило, и он даже пренебрежительно отозвался об одном московском «старце», мнение которого Бердяев привел в подтверждение своих мыслей. Но вместо того, чтобы поднять брошенный ему вызов и отвечать на него, как это было бы для него естественно, столь же страстной полемикой, он вдруг подошел к расхаживавшему в возбуждении по комнате Бердяеву, обнял его и стал его успокаивать. В этом сказалась обычная, знакомая мне широта и любовная мягкость его натуры, так трогательно-прекрасно сочетавшаяся в нем с необычайной твердостью и фанатизмом морального направления воли. Потом Бердяев говорил мне, что, по окончании собрания, П. Б. и он еще чуть ли не всю ночь пробродили по улицам Берлина, в страстном споре. (С Бердяевым, который вскоре «полевел» и вернулся, хотя и с религиозным обоснованием, к своему юношескому увлечению социализмом, П. Б. потом совершенно разошелся; лишь незадолго до своей кончины П. Б., как он мне писал, снова «дружески встретился с ним»). Это был не единственный пример сочетания у П. Б. в то время фанатически-революционного умонастроения с терпимостью в личных отношениях. Около того же времени П. Б. свиделся и дружески беседовал в своей квартире с одним из своих бывших учеников, «спецом» на со-

ветской службе, который, зная настроение П. Б., с большой робостью ждал встречи с ним. Когда через несколько лет после этого, другой, еще более видный «спец» из его учеников, занимавший в Советской России почти сановный пост, при приезде заграницу уклонился из той же робости от встречи с ним, П. Б. высказывал мне сожаление об этом, говоря, что он встретился бы с ним дружески и что ему было бы очень интересно осведомиться у него о положении дел на родине.

Воспоминания о моем дальнейшем общении с П. Б. за долгие годы эмиграции сохранились в моей памяти менее живо, чем изложенные выше воспоминания о первом двадцатилетии нашей дружбы — потому ли, что в пожилом возрасте впечатления вообще менее ярки, чем в молодости, или в силу однообразия эмигрантской жизни и отсутствия в ней сколько-нибудь значительных событий. Память моя колеблется в особенности в установлении точных хронологических дат некоторых эпизодов этого периода. К тому же наше былое сотрудничество прекратилось не только из-за нашего идеологического расхождения, но и потому, что мы прожили эмиграцию в различных городах, встречаясь только изредка наездами. (Тотчас же после нашего приезда заграницу П. Б. убеждал меня — как и некоторых других высланных друзей — переселиться в Прагу, где чешское правительство предлагало нам всем «иждивение». Я, однако, отказался от этого — отчасти потому, что считал Германию страной более благоприятной для воспитания детей и для моей собственной деятельности, отчасти же потому, что чуждался напряженно «эмигрантского» настроения русской колонии в Праге). Прежде чем перейти к изложению моих дальнейших встреч и общения с П. Б., отмечу здесь еще иную сторону нашего тогдашнего расхождения.

Изложенное выше расхождение в оценке прошедшего в России, собственно, не было принципиально-идейным разногласием, а скорее только разномыслием в теоретическом понимании русской действительности и, в связи с этим, в тактической установке в отношении ее. К тому же с годами оно начинало постепенно терять свою остроту. П. Б. по существу и в принципе, если не всегда на практике, по самой своей природе не мог быть только моральным фанатиком и политическим борцом, а продолжал попрежнему быть беспристрастным мыслителем и объективным наблюдателем; а я, в свою очередь, за эти годы научился видеть и понимать кое-что, что в силу неизбежной ограниченности кругозора в пределах советской России, ускользало до того от моего внимания (П. Б. ядовито написал как-то о нас, сравнительно долго проживших под игом большевизма, что мы ничего не могли видеть, стоя там «лицом к стене, а спиной — к стенке»). Более значительно было за эти первые годы эмиграции расхождение наших интересов.

П. Б. в течение 20-х годов целиком ушел в политическую борьбу — отчасти в (неизвестную мне) конспиративную деятельность, отчасти в политическую организацию эмиграции и в политическую публицистику. Коротко говоря, его реакция на большевистскую революцию состояла в усилении политических интересов и напряжении воли к политической активности. Я, напротив, вместе с группой лиц, с которыми я в те годы сблизился и среди которой руководящую роль играл Н. А. Бердяев, под впечатлением русской катастрофы, всецело ушел в сферу духовной жизни и духовных интересов — в дело внутренней проверки и углубления духовных основ собственного миросозерцания и в общественное дело духовного влияния на молодежь, попытки ее духовного возрождения. Отчасти эта наша установка была тоже определена чисто тео-

ретическим воззрением, что это есть отныне единственно плодотворный и возможный путь в возрождению России, и особенно — единственное положительное дело, которое мыслимо в эмиграции, тогда как всякая политическая деятельность в условиях эмиграции обречена оставаться призрачной и бесплодной. Но главным образом это было просто непосредственной реакцией моего существа на шок, испытанный от русской катастрофы. У меня эта реакция была религиозной и испытывалась, как некий религиозный переворот, требующий духовного напряжения в переоценке всего жизнепонимания. Такого духовного кризиса П. Б. не пережил; он принадлежал к тем (по выражению американского психолога религии Вильяма Джемса) «однажды-рожденным» натурам, которым дано непрерывно-постепенное, без духовных переворотов, прямолинейное развитие заложенных в них задатков. С годами и это различие наших интересов и путей постепенно сглаживалось, и в последний период нашего общения совершенно исчезло; но в 20-х годах оно с обеих сторон ощущалось очень остро. Мы — упомянутая группа русских «религиозных мыслителей» — основали Религиозно-философскую Академию (она была возрождением заграницей основанной Бердяевым в Москве в 1921-22 гг. Академии духовной культуры, в которой я принимал деятельное участие и которая стояла в центре тогдашней московской общественной жизни) и приняли участие, в качестве идейных руководителей, в возникшем тогда Русском Студенческом Христианском Движении. П. Б. ощущал эту нашу установку, как некоторого рода «дезертирство». Он резко осуждал наш тогдашний политический индифферентизм (который, конечно, отнюдь не был принципиальным и определял совсем не наши идеи, а только наши настроения и интересы); духовную установку, которая, сосредоточившись на внутренней религиозной жизни,

не приносит плодов в области ясной и напряженной морально-политической воли, он считал не только односторонней, но и морально фальшивой. В этом он был, конечно, принципиально совершенно прав. Такая установка могла быть — и фактически и была для большинства из нас — только временным этапом нашего духовного развития. Но он не учитывал ее положительной ценности, именно в качестве такого временного этапа — необходимости уйти на время «из мира» в себя, чтобы сосредоточиться, накопить и уяснить руководящие духовные ценности жизни. Когда в 1923 г. я опубликовал книжку «Крушение кумиров», в которой я описывал пережитый нашим поколением в итоге русской революции духовный кризис и призывал молодежь к религиозному и духовному углублению с отказом от всякого политического фанатизма, П. Б. напечатал в редактируемой им газете «Возрождение» (о чем сейчас же ниже) резкую критику проф. Билимовича на эту книжку, под заглавием «Ложные зовы».

Следующая, если я не ошибаюсь, моя встреча с П. Б. после его приезда в Берлин в 1922 г., произошла осенью 1924 г. в Праге, куда я приехал в связи с происходившей в ее окрестностях конференцией русской христианской молодежи. Это было накануне уже решенного тогда П. Б. основания в Париже газеты «Возрождение» и его переселения в Париж. «Возрождение» ставило своей задачей идеиную борьбу с большевизмом, объединение вокруг этой борьбы всей эмиграции без различия партийных направлений и, тем самым, противодействие позиции П. Н. Милюкова, ставшего тогда главой учрежденной им «республиканско-демократической» партии и в своей газете «Последние новости» опиравшегося на левые круги эмиграции и резко отмежевывавшегося от «правых». (П. Б. сказал тогда мне, что Милюков имел бы все данные для того, чтобы возглавить и объединить всю эмиграцию, если бы он

не занял такой односторонней политической позиции). Впервые за нашу многолетнюю связь я не принимал участия в литературном начинании П. Б. Я откровенно высказал П. Б. мои сомнения и возражения против этого его начинания. Прежде всего, я не мог разделять веры в большое политическое значение этого дела. Я указывал П. Б. на различие между былым «Освобождением» и нынешним заграничным органом: «Освобождение» было основано с помощью земцев, опиралось на живую связь с оппозицией внутри России и, по тогдашнему замыслу П. Б., должно было быть именно свободным голосом русской оппозиции; «Возрождение» было чисто эмигрантским начинанием, лишенным связи с общественным мнением внутри России и даже, по всему умонастроению П. Б., не желавшим считаться с ним. Даже если бы замышленное, как основная задача газеты, политическое объединение эмиграции могло удастся, оно не имело бы сколько-нибудь существенного значения для хода событий в России. Я чувствовал, что мои соображения очень не по душе П. Б. и сильно его задевают, как задевают верующего возражения скептика. Вообще всегда откровенный в своих высказаниях, он явно уклонялся от ответа мне и ограничился указанием, что я недооцениваю мировой опасности большевизма, — на что я отвечал, что считал бы в высшей степени ценным издание антибольшевистского органа на иностранном языке, которыйставил бы своей задачей политическую информацию и просвещение западноевропейского общественного мнения, но что я не могу верить в значение чисто эмигрантского русского органа печати. Кроме того, я предсказывал ему неудачу его начинания. Я недоумевал, как такой исторически образованный и политически умный человек, как П. Б., не видел, что всякое чисто эмигрантское начинание «построено на песке», что эмиграция по имманентно-социологическим законам

своего бытия обречена на политическое бесплодие и есть классическое место для политических раздоров и «кружковщины». Но П. Б. тогда слишком сильно веровал в свой долг и в свою миссию антибольшевистской борьбы, чтобы учитывать эти соображения.

Я мало знаю о жизни и деятельности П. Б. в те годы (до его переселения в Париж — весной 1925 г.). Он, конечно, как всегда, продолжал и научно работать (главным образом, по теории политической экономии), но мне кажется, что в эти годы эта сторона его творчества все же как-то отошла на задний план. Он издал несколько номеров «Русской Мысли», состоял профессором существовавшего тогда в Праге русского юридического факультета и, конечно, членом множества русских союзов и обществ. Знаю только, что П. Б. был вдохновителем и идеальным руководителем Союза галлиполийцев, объединявшего молодежь из Белой армии. Помню характерную жалобу одного русского пражанина на П. Б.: ради участия в собраниях «галлиполийцев», П. Б. неоднократно манкировал своими иными общественными обязанностями. С «галлиполийской» молодежью он, повидимому, чувствовал себя связанным неким священным обетом верности, имевшим тогда безусловное первенство над всеми другими его служениями.

В те же годы, по почину о. Сергея Булгакова, проживавшего тогда еще в Праге, и под его возглавлением, было основано Братство св. Софии, которое должно было углубить и спаять религиозным обетом братскую связь между православно-верующими русскими мыслителями. У некоторых учредителей братства — каюсь, и у меня — были тогда колебания, подходит ли П. Б. в его тогдашнем умонастроении, явно подчинявшем политической задаче все остальное, в том числе и религиозные интересы, к участию в братстве. На его включении настоял о. Сергий Булгаков, бывший его

духовным отцом и потому лучше других знавший духовное состояние П. Б.; и я должен открыто признать, что о. С. Булгаков оказался в этом своем истинно христианском любовном отношении к П. Б. мудрее и дальновиднее нас. Конечно, богатая и глубокая душа П. Б., по самому существу своему религиозная, продолжала в нем жить скрыто от взоров других и в эти годы, когда в своей внешней деятельности он, казалось, был безраздельно охвачен политическим фанатизмом. Я уже тогда, хотя и смутно, чувствовал это. Я постепенно начинал осознавать, что собственно случилось с П. Б.: глубоко, в самых недрах своей души раненый неудачей Белого движения и крушением родины, он находился в состоянии близкому к потере духовного равновесия или во всяком случае его обычной духовной широты, от неизбывной скорби по судьбе родины. Я не мог не любить его именно за то, в чем с ним расходился. Но вступление П. Б. в Братство не помешало ему выступить чрезвычайно резко против его сочлена по Братству Н. А. Бердяева (в статье «Бердяевщина» в «Возрождении»). Насколько я знаю, П. Б. не посетил ни одного собрания Братства; и участие в нем оставалось для него мало-существенной формальностью.

Вскоре после этого нашего свидания в Праге осенью 1924 г., П. Б. переселился (в мае 1925 г.) в Париж, где начал издавать газету «Возрождение» и в следующем году созвал нашумевший тогда Зарубежный Съезд, на котором председательствовал. Зарубежный Съезд, как это не трудно было заранее предвидеть, кончился по существу полным провалом, и лишь формально удалось довести его благополучно до конца. «Левые» отказались в нем участвовать, чем уже с самого начала было нанесено поражение замыслу П. Б. объединить всю эмиграцию. Подлинные, коренные правые, на положении оппозиции, не только чинили вся-

кие трудности линии, намеченной П. Б. и его единомышленниками, но и лично интриговали против него. Мне потом рассказывали, что один из вождей правых высказался о съезде в словах: «Чего можно ожидать от съезда, на котором председательствует такой... (следовало нецензурное бранное слово), как Струве?» Участник съезда, политический единомышленник П. Б., глава Русского Национального Комитета, проф. А. В. Карташев, говорил мне вскоре после этого, что съезд произвел на него такое же впечатление «сумасшедшего дома», как в 1917 году правительство Керенского (что, странным образом, не мешало ему быть активным участником того и другого). Мне было больно и грустно, когда я вскоре после этого прочитал в газете публичное заявление П. Б., что он «считает Зарубежный Съезд самым большим общественным делом своей жизни».

Так же меня огорчала политическая линия, намеченная тогда П. Б. и проводимая им в «Возрождении». Он — очевидно, поневоле — все более сближался с духовно ему — как я ясно понимал — все же чуждыми подлинными «правыми». Он добился — и очень торжествовал по поводу этого достижения, — того, что зарубежное «объединение» было возглавлено великим князем Николаем Николаевичем. В одну из наших встреч я ему указал, что, по моему убеждению, это монархическое возглавление политически вредно и будет только наручу большевикам (из моего опыта в Советской России я приводил случай, когда большевики умышленно — и с успехом — компрометировали в глазах народных масс восстания против них, облыжно описывая их, как попытку монархической реставрации). Но П. Б. только замахал на меня руками и сказал: «Это не имеет ни малейшего значения». Тогда же А. С. Изгоев, сначала сотрудничавший в «Возрождении», ушел из него, не согласный с этим монархиче-

ским «облачением», которое оно стало принимать. Я оговариваюсь, что ни для кого из нас — ни также для самого П. Б. — вопрос о будущей форме правления (монархии или республики) не имел принципиального значения; разногласие касалось только вопроса о тактической целесообразности оказательства монархических симпатий; и в этом вопросе П. Б. совершенно сознательно отказался считаться с бесспорно установленным состоянием умов в России. В другом вопросе — в аграрной политике — П. Б. в то же время считал нужным вести «реальную политику»: он доказывал вредность притязаний бывших землевладельцев на восстановление их прав собственности и утверждал необходимость публичного заявления, что земля сохранится за фактическими ее владельцами. Я безуспешно старался показать П. Б. противоречие между этими двумя его установками.

В течение 1926 и 1927 годов я дважды приезжал в Париж для чтения лекций в Богословском институте и оба раза дружески встречался с П. Б. В первый мой приезд он однажды зашел специально за мной на собрание «Христианской молодежи» и повел меня ужинать в какое-то, облюбованное им за вкусную еду, быстро в Латинском квартале. Мы провели в интимно-дружеской беседе, избегавшей спорных вопросов, уютный вечер. Я, между прочим, в форме дружеского участия в его личной судьбе, выразил ему мои опасения, что из-за «Возрождения» ему суждено остаться у «разбитого корыта». П. Б. поморщился и дал мне понять, что он не желает думать о своей личной судьбе. В течение той же беседы мне пришлось все же огорчить его. Он просил меня откровенно сказать ему мое мнение, какая из двух газет — «Возрождение» или «Последние Новости» — редактируется лучше в смысле чисто газетной техники и привлекательности для массового читателя. Я должен был по совести признаться

ему, что в этом отношении «Последние Новости» совершенно бесспорно стоят выше «Возрождения». Еще более дружеской была наша встреча во второй мой приезд в январе-феврале 1927 года. Тут мы опять сошлись с ним идейно по крайней мере по одному вопросу тогдашней эмигрантской общественной жизни: в отношении к возникшему тогда церковному расколу. Мы оба осуждали «карловчан» (епископский синод в Карловцах), церковная политика которых, шедшая в явный разрез с очевидным для всех беспристрастных людей канонически-законным положением, привела к расколу эмигрантской церкви. Политика эта отчасти была определена попыткой правых кругов внести в церковную жизнь монархическую политику, отчасти же была выражением просто личных интриг и личного честолюбия некоторых иерархов. Кажется П. Б. впервые тогда на практике ощутил моральную недоброкачественность некоторых правых кругов, с которыми он пытался объединиться. Он просил меня написать в «Возрождение» о церковных делах в Берлине; я указал, что это тактически удобнее сделать в форме «интервью» газеты со мною, и в такой именно форме мой отчет о берлинских делах появился в «Возрождении». Я узнал потом от Нины Александровны, которая жила тогда в Праге, что П. Б. писал ей об удовольствии, которая доставила ему эта наша встреча. Из того же времени мне вспоминается еще один приезд П. Б. в Берлин, не как личная встреча с ним, а по одному его публичному выступлению. Он прочел в открытом научном заседании тогда существовавшего юридического факультета Русского Научного Института доклад об «экономическом материализме». Здесь, к большому моему удовольствию (которое я и выразил, выступая в прениях по докладу), он показал, что политическая страсть не мешает ему быть беспристрастным, объективным ученым. Вместо филиппики против этого марксистского

исповедания веры, которой от него ожидали его политические единомышленники, П. Б. дал тонкий и сложный объективный анализ экономического материализма, как социологической доктрины, спокойно и тщательно различая в нем верное от неверного. Декану факультета И. А. Ильину, который специализировался на обличении большевизма и свои собственные, даже научные речи всегда строил по типу проповедей и филиппик (П. Б. метко назвал его «ритором»), ничего не оставалось, как скрепя сердце, восхвалить научную объективность П. Б.

Но к этой же эпохе относится одно, совсем иного рода, выступление П. Б. — если не ошибаюсь, оно произошло несколько позднее, уже незадолго до конца его деятельности, как редактора «Возрождения», — которое заставило меня снова и с особой остротой почувствовать мое расхождение с ним. Проживавший в Праге беллетрист Е. Н. Чириков выпустил роман «Зверь из бездны», в котором изображал разлагающее моральное влияние большевистских нравов и ужасов Гражданской войны на лагерь «белых». П. Б. не только сурово осудил этот роман и дал на него чрезвычайно резкую критику (что было при его умонастроении естественно и во всяком случае было его правом, хотя мне, напротив, тезис романа Чирикова представлялся весьма правдоподобным или даже бесспорным), но он принял участие и в поднявшейся агитации, в движении «общественного протesta» против Чирикова. В «Возрождении» он опубликовал подписи пражских русских студентов, выражавших Чирикову свое возмущение. Позицию, занятую П. Б. в этом деле, я не мог воспринять иначе, как принципиально о ошибочную. Это был единственный случай за наши полувековые отношения, когда я почувствовал, что П. Б. впал в принципиальное духовно-моральное заблуждение. Он, который сам всю жизнь выступал еретиком, не счи-

таясь с господствующим общественным мнением, и всегда боролся против моральной цензуры над независимой мыслью, здесь сам возглавил партийно-общественное преследование писателя, и притом писателя-беллетриста! Он, правда, аргументировал тем, что роман Чирикова, под внешней формой беллетристического произведения, есть тенденциозный памфlet против Белого движения. Это было несомненной натяжкой: как бы посредственна ни была художественная ценность романа Чирикова, — по замыслу он был именно правдивым описанием реальности. Таким же аргументом в былое время нигилисты и радикалы оправдывали моральный бойкот Тургенева, Достоевского, Лескова. Да и, кроме того, единственно правильный ответ даже и на чисто политический памфlet заключался бы только в критике его тезиса, а никак не в морально-общественном протесте против его автора. Я порывался написать «открытое письмо» П. Б., выразив в нем мое горькое чувство; мне хотелось сказать, что большевики могут торжествовать: они духовно взяли в плен своего главного идеиного врага, внушив ему свою идею «социального заказа» в литературе. Но я испытывал это разногласие слишком болезненно, и мне не хотелось предавать его гласности, публично выступать против П. Б. не по теоретическому, а по морально-общественному вопросу. Я, в конце концов, решился промолчать — тем более, что нужное против его позиции уже было высказано другим его ближайшим много летним сотрудником, А. С. Изгоевым, на страницах газеты «Руль». Я даже ничего не написал в частном порядке П. Б. Я решил предать забвению это в своем роде единственное за всю деятельность П. Б. случайное его заблуждение, объяснимое только его лихорадочным политическим возбуждением того времени.

Вскоре, именно осенью 1927 г. — закончилось редактирование П. Б. «Возрождения», при обстоятель-

ствах, которые он пережил весьма трагически. Издатель «Возрождения», бывший нефтепромышленник А. О. Гукасов, почему-то недовольный П. Б., сначала принялся сокращать его редакторские полномочия и всяческими унизительными мерами вынуждал его к уходу, а затем просто отказал ему, и созданная инициативой и усилием П. Б. газета перешла в руки другой редакции. В этой интриге участвовали и некоторые из политических единомышленников П. Б. Мой пессимистический прогноз в отношении этого начинания оказался, к несчастью, верным: П. Б. очутился у «разбитого корыта». Гукасов, правда, предлагал ему еще в течение года выплачивать жалованье, но под условием, что он будет молчать об обстоятельствах его ухода; само собой разумеется, П. Б. отказался от этого предложения, заявив, что его нельзя подкупить. П. Б. тогда разослал циркулярное письмо к друзьям с подробным изложением всех обстоятельств своего конфликта и разрыва с Гукасовым. А. С. Изгоев и я, совместно прочитав это письмо, были удрученены описанием в нем тех унижений, — которые испытал П. Б., и мы сразу же решили оба, что в интересах П. Б. надо стараться по возможности не оглашать содержание этого письма. Мне вспоминалось, как легко, без огорчений и волнений, П. Б. некогда пережил сходное по грубости поведение Сытина, без предупреждения закрывшего редактируемую П. Б. газету; теперь, в искусственных условиях эмигрантской беспочвенности, такой же кулацкий-купеческий поступок Гукасова заставил его тяжело страдать.

Я остро почувствовал всю тяжесть удара, поразившего П. Б. и рассеявшего все его упования, и написал ему горячее сочувственное письмо. Он благодарил меня, но в том же ответном письме прочитал мне нотацию за то, что я — как раз в то время — дал статью в «Евразийский Временник». Здесь я вкратце должен ко-

снуться отношения П. Б. к возникшему в те годы и на короткий срок прошумевшему «евразийскому» движению. Группа молодых ученых и писателей — самым выдающимся из них был ученик П. Б., экономист и географ П. Н. Савицкий — создала это новое идеиное направление некого реформированного славянофильства, которое противопоставляло западноевропейскому миру Россию, как страну «евразийской» культуры, внутренне связанной с культурой азиатской, именно «турецкой». Политически евразийцы отмежевывались от господствующего эмигрантского отношения к большевизму; оставаясь также противниками большевизма, они видели в большевистской революции попытку — хотя и идеологически должно обоснованную — найти для России собственный путь развития. П. Б. естественно отнесся к этому движению резко отрицательно; его отталкивали и его «славянофильская» тенденция и компромиссное отношение к большевизму. Я, напротив, ничуть не разделяя по существу учения евразийцев, отнесся к нему с интересом, как к единственному в эмиграции проявлению свежей и оригинальной общественной мысли. Но П. Б. не только осуждал идею евразийцев; он утверждал моральную недоброкачественность самого этого движения, называя его «антрепризой». В этом, как показала дальнейшая судьба евразийства, он оказался прав, по крайней мере в отношении некоторых его участников (которые стали издавать в Париже уже чисто пробольшевистскую газету, на чем движение и раскололось и после чего оно — подобно большинству эмигрантских начинаний — быстро отцвело и сошло со сцены). Но в то время, к которому относится упомянутое письмо ко мне П. Б., я этого еще не мог предвидеть. П. Б. писал мне, что привык «любить и уважать меня», но что мое участие в евразийском издании «свидетельствует о недостатке морального обоняния». Я воспринял это суждение тог-

да, как проявление все того же идейного фанатизма П. Б. Я вспомнил и напомнил ему, что в юности «марксисты» осуждали меня за то, что я поместил статью в народническом «Русском Богатстве», что я не ожидал от П. Б. упрека такого же рода и что я прошу его судить о моей статье по ее содержанию, а не по обложке, под которой она появилась.

На этом кончается история нашего идейного расхождения. Последующие годы были годами нового идейного сближения. Это объясняется тем, что конец редактирования «Возрождения» был примерно и концом тогдашней политической *“Sturm-und Drang-periode”* (периода «бури и натиска») П. Б. После ухода из «Возрождения» он, правда, некоторое время пытался проводить свою политическую линию в тотчас же основанной им еженедельной газете «Россия», но было ясно, что прежнему воодушевлению пришел конец. В мае 1928 г. кончилось издание «России». П. Б. сначала возвращается в Прагу, а затем едет (весной 1928 г.) в Белград на съезд русских писателей. Если я не ошибаюсь, испытанный им удар положил конец многим из его иллюзий. Он возвратился к научной работе, жизнь и настроение его стали сосредоточеннее и спокойнее. Тем самым было изжито и то, что нас разделяло за описанные первые годы эмиграции.



## **VIII. ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ. НОВОЕ СБЛИЖЕНИЕ (1928-1938)**

Эта перемена в судьбе, образе жизни и настроении П. Б., вместе с которой постепенно теряло остроту, изживалось и стало беспредметным наше «расхождение», имело своим более глубоким и общим основанием совершившуюся, именно в те годы — в конце 20-х годов — перемену в настроении и жизненном укладе русской эмиграции. Это было время постепенного, но неуклонного и все более отчетливо сознавшегося изживания иллюзий первых лет эмиграции. Надежды на скорое и внезапное падение советской власти еще вспыхивали от времени до времени, но с все уменьшавшейся силой, и серьезно ориентироваться на них становилось для мыслящих людей все более невозможным. «Галлиполийская» молодежь и вообще молодежь Гражданской войны разбрелась по разным службам и занятиям в странах Европы. Она постепенно переставала быть «молодежью» и становилась зрелыми, а потом и пожилыми людьми; если в первые годы эмиграции она жила в настроении хотя и долголетнего, но только временного «отпуска» с военной службы, готовая по первому зову вождей снова кинуться в бой, то постепенно становилась все более ясной иллюзорность этой жизненной установки. «Белая армия», символически еще продолжавшая существовать в форме Общевоинского Союза, мало-помалу сливалась с общеэмигрантской обывательской массой, и Общевоинский Союз — особенно после преждевременной

смерти своего общепризнанного героического вождя, ген. Врангеля — стал одной из многих эмигрантских профессиональных и благотворительных организаций. Вся эмигрантская «общественность» все более утрачивала свою напряженно-политическую установку и направлялась на внутренние интересы эмигрантской обывательной жизни с ее неизбежными будничными раздорами и дрязгами. Начинала подрастать новая молодежь, реально уже не знавшая ни старой России, ни революции и борьбы с большевизмом и слышавшая обо всем этом только от отцов; естественно, что ее настроение — довольно, впрочем, многообразное в разных группировках — было уже иным. Словом, во всех отношениях героические дни русской эмиграции уходили в прошлое и заменялись долгими серыми буднями.

Естественно, что человеку такого духовного размаха, как П. Б., при его потребности жить и мыслить широкими и общими интересами, не оставалось в этой атмосфере места для реальной общественной деятельности. Кроме того, в Праге, куда он временно снова вернулся из Парижа, он чувствовал себя «не ко двору» еще и потому, что чешское общественное мнение находилось в плenу банальных лозунгов ходячего «демократизма», власть которых не умерялась, как в более старых европейских демократиях, давнишним на-выком к независимой мысли и многообразию индивидуальных мнений. В силу этой политической атмосферы, русской эмигрантской общественностью в Праге заправляли левые русские круги, духовно чуждые П. Б. Все это создавало для него положение духовной изолированности. Осенью 1928 г. П. Б. переселяется в Белград в качестве члена основанного там Русского Научного Института. Из Белграда он, правда, редактирует основанную им при поддержке его единомышленника, чешского государственного деятеля К. П. Крамаржа,

еженедельную газету «Россия и Славянство» (тогда как «Возрождение», на которое он возлагал так много упований, при новой редакции быстро сходит на уровень бульварно-обывательского листка правой эмиграции). Но многое мешало тому, чтобы П. Б. мог подлинно вложиться душой в это новое свое издание. Интересы «славянства», которым газета должна была посвящать значительную часть своего материала, не были особенно близки П. Б.; газета издавалась в Париже, и потому уже по техническим условиям фактическое редактирование ее находилось в руках других лиц — более молодых его сотрудников и единомышленников (главным образом, К. И. Зайцева и С. С. Ольденбурга), тогда как сам П. Б. ограничивался почти только писанием статей в газету. И, наконец, описанное общее понижение темпа эмигрантской жизни и политической мысли содействовало тому, что «Россия и Славянство» стала газетой скорее литературной, чем политической. По всем этим и общим, и личным условиям своей жизни, П. Б. все более отходил от участия в общественной жизни; не теряя, конечно, своего обычного страстного интереса к политической судьбе России и Европы, он углублялся все же в другую прирожденную стихию своей души — в научное творчество.

Иная, но в некоторых отношениях аналогичная перемена произошла в те же годы и в моей судьбе и жизненной установке (о чем я должен упомянуть, чтобы сделать понятным условия нашего нового сближения с П. Б.). И русское «Студенческое Христианское Движение», которому я с увлечением отдался в первые годы эмиграции, начало мало-помалу «сходить на нет», и в особенности в Берлине и вообще в Германии, где я жил. Новое, подраставшее юношество, которое мы пытались вовлечь в него, имело мало интеллектуальных и религиозных интересов; приспособляясь к его духовному уровню, практические руководители Дви-

жения повели его по пути «скаутизма»; религиозные, а тем более религиозно-философские лекции и кружковые беседы стали только несущественным и мало ценимым добавлением к главным занятиям и интересам этой молодежи — спорту, лагерной жизни, хоровому пению и пр. Коротко говоря, мечта, которой наша группа «религиозных мыслителей» предавалась в первые годы эмиграции — содействовать внутреннему, духовному возрождению русской молодежи — в значительной мере тоже оказалась иллюзорной (несколько иначе это было в Париже, где из среды христианского движения молодежи и студентов Богословского Института все же вышел ряд очень замечательных по умственному и духовному уровню молодых людей, большинство которых стало выдающимися священниками). И одновременно я сам, в моей внутренней духовной жизни, пережил начальный «бурный» период религиозных исканий и вернулся к сосредоточенному философскому творчеству. И, наконец, к этим внешним и внутренним переменам в судьбах нас обоих присоединился еще, быть может, наиболее решающий факт общего порядка: для нас обоих наступила — или, по крайней мере, приближалась — пора последнего внутреннего созревания и просветления старости.

В этой связи с обеих сторон переставал быть актуальным и был как-то сам собой изжит предмет нашего былого расхождения с П. Б. Еще некоторое время между нами оставалось разногласие мнений по некоторым политическим вопросам, которое, однако, все более теряло свою остроту, начинало сводиться к различию в оттенках мнений и настроений, и все более тонуло в нашем старом, исконном духовном сродстве, в чувстве взаимной близости и общности наших интересов и вкусов.

В течение 1928-1932 гг. я неоднократно встречался с П. Б.: три раза — в 1928, 1931 и 1932 гг. он наезжал в

Берлин, причем в последний из этих приездов он около месяца прожил у меня; летом 1928 года, когда я ездил на конференцию Студенческого Христианского Движения в Чехии, я на пути провел с ним вечер в Праге; летом 1929 г. П. Б. по пути из Белграда в Париж заехал ко мне, в южногерманский курорт Баденвейлер, куда врачи послали меня оправиться от упадка сил; мы провели целый день в прогулке по живописным окрестностям и на утро вместе выехали, расставшись во Франкфурте; и, наконец, в начале 1930 г. я провел с ним целых два месяца в Белграде. Все эти встречи были заполнены мирным дружеским общением и беседами на множество разнообразных тем; содержание этих бесед в деталях в значительной мере исчезло из моей памяти. Приведу из этих встреч лишь то, что характерно для воззрений П. Б. или что я в них узнал из его жизни и деятельности за эти годы.

Из приезда П. Б. в Берлин мне запомнилось его суждение о личности Ленина, которого он знал в юности. Волнуясь — как всегда, когда дело шло о моральных оценках — сильно жестикулируя и повышая тон, он говорил, что Ленин, как личность, морально отталкивал всех; он рассказывал, что все сотоварищи Ленина по социал-демократической партии отрицательно к нему относились. «Плеханов его ненавидел, Аксельрод его ненавидел, Вера Засулич говорила о нем, что у него — натура палача», — говорил П. Б., при каждом упоминаемом лице поднимая и сильно бросая на стол металлическую пепельницу. Чувствовалось, как он загорался негодованием при воспоминании о личности Ленина. (Кстати о Вере Засулич: мне вспоминается, что П. Б. неоднократно говорил мне об этой, некогда знаменитой революционерке, ставшей одним из первых членов русской социал-демократической партии, всегда отзываясь о ней с величайшим уважением и любовью

— один из примеров его умения отделять оценку личности от принципиальной политической оценки идей).

В начале 1929 г. П. Б. и его семью постигло несчастье: скончался в Давосе от чахотки после многолетней болезни его четвертый сын Лев, 26 лет, молодой студент-экономист, на которого П. Б. возлагал надежды, как на своего преемника. (Он заболел на моих гла-зах в Берлине, осенью 1922 г. крупозным воспалением легких, перешедшим в туберкулез; он был первым членом семьи Струве, — с которым я встретился, после пятилетней разлуки, при моем приезде заграницу из Советской России. Я его оставил в России еще ребенком и встретил в Берлине очаровательным юношей, которого вся моя семья очень полюбила). Мы приняли, конечно, горячее участие в горе семьи Струве, и по этому печальному поводу снова тесно душевно сблизились с ней. Моя переписка в эти дни шла с Н. А.; П. Б. переносил свое большое горе молча.

В январе 1930 г. эмиграцияправляла 175-летний юбилей Московского университета. П. Б. просил меня написать в «Россию и Славянство» воспоминания о моих студенческих годах, что я и сделал. Помню, П. Б. сделал примечание к одному месту моей статьи, исправляя маленькую неточность в моих воспоминаниях — одно из свидетельств изумительной силы и богатства его памяти. Если не ошибаюсь, к тому же времени относится кончина в Париже близкого и высоко-ценимого им князя Григория Николаевича Трубецкого, которого я хорошо знал и любил. Некролог, который я тогда поместил в русской газете «Руль» и где я, между прочим, высказывал мысль, что братья Трубецкие — живой пример положительной роли русского дворянства в истории русской культуры до самых последних лет — доставил П. Б. большое удовлетворение, которое он высказал в письме ко мне.

Ранней весной того же года, по инициативе П. Б.,

я был приглашен Белградским Русским Научным Институтом приехать для чтения двухмесячного курса лекций в Институте. Эта моя поездка дала мне — впервые за годы эмиграции — возможность возобновить более длительное общение с П. Б. и Н. А. и близко наблюдать деятельность П. Б. в Белграде. П. Б. в то время почти всецело — поскольку это было вообще для него возможно при безмерном многообразии его научных интересов — погрузился в изучение русской истории — главной области его научного творчества за последние пятнадцать лет его жизни. Изучение экономической истории России, с которой он начал, быстро превратилось в замысел постигнуть историю русской культуры и государственности. Он говорил мне, что некогда поставленная Карамзиным тема «Истории Государства Российского», никогда позднее не была предметом сознательного осмысления и должна быть разработана заново. Господствующие построения русской истории, в частности идеи Ключевского, он считал односторонними, именно в виду слабого интереса русских историков к началу государственности. Он читал в это время лекции по русской истории в Белградском Русском Научном Институте; я несколько раз слушал его и был снова поражен его огромной ученостью, его начитанностью во всех областях исторического знания (включая даже, например, историю русского языка); я не сомневаюсь, что по объему знаний и оригинальности мысли он стал под конец своей жизни первым русским историком. Было прискорбно видеть, что эту безмерную сокровищницу своих знаний он рассыпал перед немногими русскими старыми генералами и старушками, составлявшими его аудиторию (молодежь, за ничтожными и случайными исключениями, как говорится, «блестала своим отсутствием»). П. Б. состоял также председателем отдела общественных наук Института и, в качестве такового, председательствовал

на публичных научных заседаниях. Когда я прочел доклад, посвященный философской оценке психоанализа, я, при всей моей привычке к начитанности П. Б., был поражен тем, что он был прекрасно ориентирован не только в общих идеях психоанализа, но и в основной научной литературе о нем; мне было непонятно, когда он успел ее изучить и для чего это было ему нужно.

Положение П. Б. в Белградском Научном Институте, как и в местной русской колонии вообще, было трудным и доставляло ему много тягостных переживаний. У него было много недоброжелателей. Для многих, коренных, «нутряных» русских «правых» П. Б. был, конечно, личностью неприемлемой, либералом и революционером. Впрочем, вопреки распространенному в русской эмиграции мнению, белградская русская колония отнюдь не состояла сплошь из таких «черносотенцев». Кроме некоторого числа серьезных русских ученых, пожалуй, большая часть русской колонии, в том числе и некоторые профессора, были просто средними обывателями, ведущими типично-русский провинциальный образ жизни, заполненный обильной едой, выпивкой и картами. Среди них находился ряд очень милых и культурных людей, с которыми П. Б. был в дружеских отношениях. Из числа его белградских друзей и знакомых упомяну престарелого русского историка, проф. Е. И. Шмурло, последние годы своей жизни проводившего в Белграде, достойного и симпатичного историка русского права, Ф. В. Тарановского (заменившего вскоре проф. Е. В. Спекторского на посту директора Института), декана созданного в Белграде русскими профессорами медицинского факультета, Игнатовского, дочь бывшего коллеги П. Б. по Политехническому Институту, И. И. Иванюкова, замужем за профессором-математиком Хлытчиевым. К числу близких П. Б. людей принадлежали симпатичный математик В. Х. Дават, убежденный «белый», его неизменный

сожитель и спутник, журналист Рыбинский, и ряд других лиц, имена которых я не помню. П. Б. усердно водил меня в гости к этим многочисленным своим знакомым и друзьям. Я узнал его здесь с новой стороны; он любил непринужденное русское обывательское общение с людьми радушными и простыми (по интеллектуальному уровню стоявшими, конечно, много ниже его), любил поужинать, выпить рюмочку-другую водки и даже воскресил свою юношескую страсть к картам (которую совершенно забросил за все прежнее время моей близости с ним).

П. Б. жил, как всегда, среди груды книг, изучал, кроме русской истории, множество других предметов, пользуясь несколькими, относительно хорошиими белградскими библиотеками и выписывал себе книги. Он вообще обладал удивительной способностью, даже живя вдалеке от больших культурных центров, и ориентироваться в научных новинках, и отыскивать старые, часто ему одному ведомые книги, — словом, беспрерывно расширять свою и без того огромную эрудицию. Из Белграда он сотрудничал в одном венском экономическом журнале, дав туда ряд работ по политической экономии и социологии. Кроме того, он жадно читал газеты — кроме русских и сербских газет, он получал *Frankfurter Zeitung* и *Temps*. Мы, конечно, много беседовали и по текущим политическим вопросам; но споров на тему нашего былого разногласия между нами в то время не было; помню один мой спор об отношении к русским крайним правым с его сыном Аркадием, тогда очень «правого» направления (о нем П. Б. с удовлетворением говорил: «Адя гораздо правее меня», — замечание, характерное для его собственного, скорее умеренного и только принципиально-правового образа мысли); сам П. Б. при этом только лукаво посмеивался и молчал. В мое пребывание в Белграде я написал статью — некоторого рода политico-философ-

ское размышление — под заглавием: «По ту сторону правого и левого». Я обосновывал в ней давно обдуманную и пережитую мною мысль, что перед лицом новейшего политического развития — я имел в виду коммунизм, фашизм и только что нарождавшийся тогда национал-социализм — понятия «правого» и «левого», обычно употребляемые, как некие имманентно-вечные категории политической жизни, собственно совершенно устарели, стали беспредметными абстракциями, неадекватными актуально и подлинно существенным разногласиям между политическими направлениями. Я рассказал П. Б. содержание этих моих мыслей; он со многим соглашался, но заметил, что это есть все же только «интеллигентское», то есть оторванное от реальной политической жизни мнение и в этом качестве его не удовлетворяет; он, видимо, упорно дорожил идеей «консерватизма», до которой дошел медленно, глубоким процессом духовного развития (и которая — по моему мнению — вполне совместима с намеченной мною идеей). Он однако просил меня дать эту статью для «России и Славянства». Когда я позднее, не желая разделять работу на ряд газетных статей, отдал ее в парижский журнал-альманах «Числа», он был очень недоволен и в письме укорял меня за это. Я, помню, ответил ему, что никак не ожидал, что он серьезно дорожит этой моей работой.

Во время моего пребывания в Белграде туда приехал из Загреба хорватский католический епископ Грабец, человек весьма ученый и достойный. В произнесенной им речи он обратил внимание белградцев, что в их среде живет «великий русский социолог» Струве. Вскоре после этого я видал его у П. Б., которому он нанес визит.

В январе 1931 г. я, по просьбе П. Б., дал статью к юбилею Достоевского в «Россию и Славянство». Статья эта, под заглавием «Апостол человечности», заслу-

жила полное одобрение П. Б. — он писал мне, что мы совершенно сошлись во взглядах на Достоевского. Когда я, около того же времени, по предложению пражских русских общественных организаций, произнес в Праге речь на торжественном заседании, посвященном памяти Достоевского, П. Б., осведомленный о содержании этой речи своими пражскими корреспондентами, снова выразил в письме ко мне свое удовлетворение.

Весной того же 1931 года П. Б. приехал в Берлин — не помню, по какому поводу. Он остановился у одного из самых любимых своих бывших учеников по Политехническому Институту, Владимира Федоровича Гефдинга, которого он ценил и как ученого, и как своего политического единомышленника, и просто как человека. Я тогда еще мало знал Гефдинга. П. Б. решил познакомить меня ближе с ним и свести наши обе семьи. Кроме простого естественного желания установить общение между двумя близкими ему людьми, это намерение имело еще иное значение. До этого времени П. Б., ввиду нашего политического разногласия, отчетливо отделяя общение со мною от общения со своими политическими единомышленниками; и, с другой стороны, я и сам не мог сойтись с некоторыми из них, чуждыми мне по духу. В разгар его «бело-революционного» политического настроения политическое единомыслие настолько стояло для П. Б. на первом плане, что он, как мне пришлось тогда заметить, как будто утратил даже свою обычную способность отчетливо улавливать моральное и духовное качество людей; когда мне пришлось указывать ему на моральную недоброкачественность некоторых его политических единомышленников, он как-то отмахивался от этого и игнорировал эту сторону дела. В этот свой приезд он, напротив, убедился в правоте моего суждения в отношении одного весьма влиятельного своего политического

единомышленника, с которым, по некоторой наивности, был особенно близок достойнейший и благородный В. Ф. Гефдинг. Как П. Б. мне сам конфиденциально признался, по его мысли сближение Гефдинга со мною должно было ослабить влияние на него упомянутого лица. В этом действии П. Б. обнаружилось, таким образом, не только то, что наше политическое разногласие сгладилось и перестало для него быть существенным, но и нечто другое, более для меня важное — именно, что оценки духовно-морального порядка в его душе снова возобладали над оценками людей просто по их политическому образу мыслей. И задуманное им сближение двух близких ему людей имело для него некое общее значение: оно выражало его желание, в связи с изменением его собственного умонастроения, новой группировки солидарных с ним людей, основанной на внутренней их расценке. Кажется, замысел П. Б. — по крайней мере отчасти — удался; во всяком случае мы сблизились с Гефдингом, хотя у меня с ним было, конечно, гораздо меньше общих интересов, чем с П. Б., и наши две семьи поддерживали дружеское общение до самого моего отъезда из Германии.

Из этой же встречи с П. Б. вспоминаю еще один эпизод. Летом, когда я жил в окрестностях Берлина, П. Б. приехал ко мне на целый день. Он встретился там у меня с престарелым немецким философом Якобом Фердинандом Шмидтом. П. Б. сразу же поразил и обрадовал старика тем, что обнаружил полную осведомленность в его литературной деятельности, в частности, знакомство с его давними статьями в известном общем немецком журнале *“Preussische Jahrbücher”* («Прусские ежегодники»); у них нашлось и много других общих научно-литературных воспоминаний и они долго оживленно беседовали, причем, как это всегда бывало, П. Б. оказался во многом более

осведомленным, и разговор в значительной мере имел характер поучения Петром Бернгардовичем его собеседника.

На следующий год, летом 1932 г., П. Б. снова приехал в Берлин. На этот раз его приезд был замыщен и организован мною. Мой бывший коллега по Саратовскому университету, М. Р. Фасмер, был в то время профессором и директором Славянского института Берлинского университета; с 1930 г. я читал от имени института по-немецки лекции по истории русской мысли и литературы и был в дружеских отношениях с Фасмером. Я подал ему мысль пригласить П. Б. прочесть в публичном заседании института доклад по русской истории, и мне удалось достигнуть осуществления этого. П. Б. прочитал доклад о своеобразии русской политической и социально-экономической истории, обнаружив, как всегда, большую ученьность. На лекции присутствовали, кроме ряда заинтересованных профессоров и молодежи, еще и некоторые старые друзья юности П. Б., которые приняли участие и в ужине в ресторане после доклада. П. Б. прочитал также публичный доклад в русском Академическом союзе на тему о принципах будущего устройства России; я не помню подробностей его содержания, но хорошо помню основную его идею: П. Б. с большим ударением говорил о свободе, как руководящем начале будущего политического и социально-экономического порядка России. Идея свободы, мало популярная в последнее время не только среди молодежи, но и у значительной части старшего русского поколения, оказалась центральной в миросозерцании П. Б. Несмотря на свою пресловутую «правизну», он явил себя страстно убежденным «либералом».

В этот свой приезд П. Б. остановился у меня и довольно долго прожил в моей семье. Он был в хо-

рошем, благодушном настроении, часто мило шутил; однажды, когда я не одобрил употреблявшегося им цветочного одеколона, он подкрался ко мне и, к удовольствию всей моей семьи, облил меня им. Мы иногда, по вечерам, уютно беседовали в кафе. Мне пришлось тогда наблюдать его манеру работать: проснувшись утром, он, как был, в пижаме, всунув ноги в туфли, не умываясь и еще до завтрака, сразу садился за стол писать, и только через час или два выходил к завтраку. Моя дочь, тогда 20-летняя девушка, интересовавшаяся возможностью, живя за границей, вести конспиративную антибольшевистскую работу и установить связь с Россией, советовалась с ним по этому вопросу, и он трогательно уединялся с ней для секретных бесед. Из его политических мнений мне запомнилось, что он возлагал для Германии большие надежды на Папена, только что ставшего рейхсканцлером; он верил, что Папену удастся политическое оздоровление Германии и спасение ее от тогда только угрожавшего ей натиска национал-социализма (П. Б. уже тогда — вопреки многим другим русским, особенно правого направления, остро сознавал его опасность, именно, как разрушительного революционного движения); на мое указание, что Папен, по моему впечатлению, не имеет, ни по своим личным качествам, ни по политической обстановке, достаточно силы и способностей для осуществления поставленной им задачи, П. Б. многозначительно отвечал: «цыплят по осени считают». В этом снова сказался его обычный оптимизм.

В день своего отъезда он удивил нас своим неожиданным исчезновением утром из квартиры. Оказалось, он встал незаметно рано утром и отправился покупать подарки мне и всем членам моей семьи. От этой — предпоследней! — моей встречи с П. Б. у ме-

ия сохранилось светлое воспоминание глубоко интимного и нежного дружеского общения с ним.

Вскоре после этого нашего свидания до меня дошло известие об одном тяжелом — и характерном для белградской общественной атмосферы — инциденте, омрачившем жизнь П. Б. Приглашенный читать курс социологии в Белградском университете, П. Б., на публичной вступительной лекции, был встречен враждебной манифестацией свиста и криков, сорвавшей лекцию. Бойкот этот был устроен сербскими коммунистами — если не ошибаюсь, не без участия в нем русских ультраправых монархических кругов. Кажется, П. Б. так и пришлось отказаться от чтения этого курса; он вскоре начал читать этот курс в университете в Субботице, наезжая туда ежемесячно из Белграда (вплоть до 1941 г.).

Между этим моим свиданием с П. Б. и следующей, последней нашей встречей прошло более шести лет. Года проносятся в старости быстро, и хотя это время было полно больших политических событий и — в связи с ними — внесло многое перемен в мою личную судьбу, у меня сохранилось от него сравнительно мало воспоминаний, связанных с П. Б. Он продолжал жить в Белграде и напряженно работать научно, езя по временам в Париж — насколько я знаю, главным образом, чтобы заниматься в Национальной библиотеке. Наша переписка была, если не оживленной, то регулярной. Мы стали систематически обмениваться с ним оттисками наших научных работ. К сожалению, из памяти моей исчезло, какие именно статьи он за эти годы послал мне. Я в то время напечатал в немецких журналах ряд статей по русской литературе — о Толстом, Достоевском, Пушкине и Гоголе, — которые я ему посыпал; П. Б. постоянно отвечал мне на них дружескими указаниями, выражая в общем

свое согласие с моими идеями. С одной из этих работ связано у меня особое воспоминание о П. Б. Молодой русский византинист Г. А. Острогорский (сын А. Я. Острогорского, некогда директора Тенишевского училища и редактора журнала «Образование» в Петербурге), к тому времени ставший профессором Бреславльского университета, стоял во главе редакции немецкого славистического журнала (*Archiv für Kultur und Geschichte der Slaven*) («Архив культуры и истории славян»). П. Б. знал и ценил этого молодого русского ученого, который со своей стороны был его почитателем. Острогорский задумал привлечь к участию в журнале русских ученых и, по-видимому, советовался об этом с П. Б. Об этом П. Б. писал мне. Вскоре я получил приглашение дать статью в журнал, на что ответил посыпкой статьи “*Puschkins geistige Welt*”. («Духовный мир Пушкина»), которая и была напечатана в 1933 году. Острогорскому пришлось вскоре после пришествия к власти национал-социалистов покинуть Германию и прекратить редактирование журнала. Он переселился в Белград, где получил профессуру и, насколько я знаю, вошел в близкое общение с П. Б. В 1934 году я ездил в Прагу на всемирный философский конгресс; о некоторых моих впечатлениях от него я писал П. Б. Он мне отвечал, что сознательно уклонился от участия в конгрессе (конгресс состоял не из одних философов; в нем принимали деятельное участие и социологи, и даже чистые политики, и одна из главных его секций была посвящена политической теме: «Кризис демократии»), потому что ему чужд и ненавистен весь дух пражской общественности. Я хорошо понимал его; я сам тягостно испытывал на конгрессе удушающее свободную мысль засилие банальных демократических лозунгов.

К юбилею Пушкина в 1937 году у нас завязалась с П. Б. оживленная деловая переписка. «Пушкин» был издавна одной из тем, особенно тесно объединявших меня с П. Б. Мы оба принадлежали к тому, в сущности весьма малочисленному, кругу русских «пушкинистов», которые почитают не только поэзию Пушкина, но и его дух и направление идей. Я за эти годы занялся изучением пушкинской литературы и написал несколько работ о нем; П. Б., со свойственной ему способностью быстро овладевать огромным научным материалом, стал едва ли не настоящим «пушкиноведом» (он написал, между прочим, ценнейшую статью «Дух и слово Пушкина»). П. Б. запросил у меня статью в предполагавшийся при его участии белградский сборник о Пушкине. Я предложил ему на выбор две статьи, по разным причинам оставшиеся неопубликованными: «О задачах познания Пушкина» и «Пушкин, как политический мыслитель». П. Б. ответил мне, что он имеет возможность опубликовать обе. Первая из этих статей вошла в белградский сборник, и П. Б. писал мне о ней, что он был поражен и обрадован большим сходством наших взглядов. Вторую статью П. Б. опубликовал, как первый выпуск организованного им издания серии брошюр на политико-философские темы; он снабдил ее краткой моей биографией, для которой затребовал у меня данные (он обосновывал это, довольно странное свое желание невежеством и забывчивостью русских читателей) и особым послесловием о Пушкине, как представителе «либерального консерватизма» в русской политической мысли. После выхода в свет этой брошюры, П. Б. писал мне о некоторых отзывах, которые он получил о ней; как я узнал гораздо позднее, он принял даже особые меры к ее распространению среди парижской русской колонии. Так возоб-

новилось мое былое многолетнее сотрудничество с П. Б., и наша духовная солидарность не только вновь утвердилась безоговорочно, но и получила литературное выражение на склоне нашей жизни, достойно завершившись объединением на Пушкине.

В начале 1938 года я покинул Германию и переселился во Францию. Летом этого года я пережил на юге Франции довольно тяжелую болезнь и осенью, по приглашению В. Б. Ельяшевича, переселился для отдыха, до нового устройства в Париже, в его имение Bussy (в департ. Yonne), в двух часах по железной дороге от Парижа. П. Б. провел это лето в Лондоне, работая в Британском Музее. Приехав в Париж на обратном пути в Белград и узнав о моем местопребывании, он по собственной инициативе приехал в Bussy проведать меня и повидаться со мной. Первый вопрос, обращенный им к моей жене, встретившей его на вокзале, был о моем здоровье. Он сам поразил меня своим постаревшим видом; всегда немного сутулый, он был теперь сгорбленным, по первому впечатлению дряхлым стариком. Но с этим дряхлым внешним видом он сочетал не только свою обычную умственную и духовную живость, но и большую физическую выносливость и бодрость. Он рассказывал о своей жизни в Лондоне; о своих занятиях в Британском Музее он заметил, что изучал историю экономической мысли «от Адама до наших дней». Когда В. Б. Ельяшевич переспросил его: «от Адама Смита?», он ответил: «нет, не от Адама Смита, а просто от Адама». Он расспрашивал меня о моих работах, и был очень удовлетворен, узнав, что я только что закончил большую философскую книгу. С участием сказал он мне, имея в виду необходимость заново устраивать мою жизнь: «вот, ты теперь опять на распутьи» и грустно согласился с моим ответом:

«не столько на распутьи, сколько на беспутни». Мы беседовали об угрозе новой войны (это было в конце сентября 1938 года, вскоре после политического напряжения, завершившегося мюнхенским соглашением). Против меня и В. Б. Ельяшевича, считавших войну все же маловероятной, П. Б. решительно доказывал ее неизбежность; на этот раз он, к несчастью, оказался пророком. Мы много говорили и на разнообразные научные темы, и он снова, в это последнее наше свидание, поразил меня разносторонностью и обилием своих знаний. Помню, мы с ним подробно обсуждали замечательную книгу немецкого эллиниста Jäger'a о философском развитии Аристотеля, шла речь и об истории религиозных идей в России, причем П. Б. сравнивал движение русских «заволжских старцев-нестяжателей конца 15-го и начала 16-го века с реформационным движением в Германии. И одновременно он излагал В. Б. Ельяшевичу, специалисту в этой области, свои идеи по истории русского права.

Таково было наше последнее свидание. Проведя в Bussy три дня, П. Б. вернулся в Париж и оттуда в Белград. Мы особенно нежно простились с ним. В последнюю минуту моя жена накинула на его согбенные старческие плечи плед, чтобы уберечь его от холодной осенней погоды. Больше мне не суждено было его видеть.



## **IX. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ П. Б. ПЕРЕПИСКА (1938-1944)**

Мне остается досказать — увы! — отныне только письменное общение с П. Б. за последние годы его жизни и то, что мне известно об его жизни, мыслях и деятельности за это время.

В феврале 1939 года вышел мой большой философский труд «Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии». Я его послал П. Б. Книга прилась ему по душе. Уже через несколько дней после ее получения он ответил мне коротким письмом, в котором резюмировал свое общее впечатление от нее в словах: «Эта книга останется». Признаюсь, редко когда испытывал я такое авторское удовлетворение, как от этого суждения П. Б., — тем более, что о предыдущих моих больших философских работах я не слышал от него явно выраженного одобрения; я знал, что он их ценил, но общее направление моих философских идей, как мне уже пришлось упомянуть, шло вразрез с его собственной философской интуицией. Это суждение П. Б. о книге, в которой я пытался подвести итог моему философскому развитию, привело мне на память гордые слова Шиллера: *Wer für die Besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt für alle Zeiten.* (Кто достаточно сделал для лучших людей своего времени, тот останется жить для всех времен). Оно позволило мне отнестись равнодушно к другому, вскоре после этого дошедшему до меня — на этот раз обычательско-

му — суждению, что моя книга по своей трудности есть «издевательство над читателем». Вскоре вслед за этим П. Б. написал мне, что собирается прочитать о моей книге доклад в заседании белградского Русского Научного Института.

В мае того же года мы, друзья П. Б., были встревожены одной фразой его письма. По поводу организованной тогда подписки в пользу престарелого и больного Бальмонта, П. Б. в письме к В. Б. Ельяшевичу написал: «Я жалею, что не разбит параличом, не сошел с ума — может быть, тогда русская эмиграция вспомнила бы обо мне». Зная бескорыстие П. Б., его постоянное совершенное равнодушие к его личной судьбе, не трудно было почувствовать, что эта трагическая фраза была криком души человека, дошедшего едва ли не до отчаяния. Я тотчас написал П. Б., прося у него разъяснений об его нужде и упрекнув его за то, что он раньше ничего не сказал мне о своем положении. Он ответил мне, что, не говоря уже об его моральной заброшенности в Белграде, он вынужден жить на жалование, значительно сокращенное по сравнению с обещанным ему приглашении и не обеспечивающее элементарного жизненного минимума, и совершенно запутался в долгах. Мы забили тревогу. В. Б. Ельяшевич предложил план — заинтересовать П. Н. Милюкова, несмотря на его давнишнее и постоянное разногласие с П. Б., если Милюков согласится написать в «Последних Новостях» статью о П. Б., напомнив об его заслугах, можно будет, опираясь на большую влиятельность Милюкова, успешно организовать сбор в пользу П. Б. Ельяшевич, хотя и с некоторым опозданием, поговорил с Милюковым, который обещал ему сделать просимое; обещание это никогда не было выполнено. Независимо от этого, я сделал попытку через русских, живущих

в Англии и Америке, добыть для П. Б. какую-нибудь английскую или американскую научную стипендию. Я получил сочувственные ответы и обещания действовать от графини С. В. Паниной из Нью-Йорка и от молодого русского ученого С. А. Коновалова из Лондона (сына давнишнего приятеля П. Б., известного общественного деятеля А. И. Коновалова). У меня были большие надежды на удачу, о чем я и писал П. Б., который трогательно меня благодарил. Но разразившаяся вскоре война сразу сделала все эти надежды неосуществимыми. Какими-то чудесами, беспрерывно сопровождающими нашу эмигрантскую жизнь, П. Б. удалось все же мирно дожить до момента, когда весной 1941 года военный вихрь обрушился на Белград.

В конце сентября 1939 года, переселившись с начала войны на южный берег Франции, я написал П. Б. — по-французски, в интересах скорейшего прохождения письма через цензуру. Он ответил мне, тоже по-французски, в самый день получения моего письма, 9 октября 1939 г. «Если я оказался прав, — писал он мне, — в моем предвидении событий, то потому, что я с самого начала понял, что со стороны немцев это не есть политика, а чистое безумие, индивидуальное и коллективное. И я, вследствие этого, принял в расчет безумие, так сказать, как важнейший исторический фактор. Исцеление от безумия — дело не легкое: оно будет стоить много человеческих жизней и разбитых существований». Сообщив мне сведения о всех членах своей семьи — (живший с ним и Н. А. младший его сын Аркадий, сразу мобилизованный в качестве французского гражданина, был взят в Белград на службу французского посольства, и мог поэтому остаться с родителями), П. Б. закончил письмо словами: «События выбили меня из колеи, и моя научная работа испытала довольно значительный пе-

рерыв — ты это хорошо поймешь, несмотря на все различие наших темпераментов».

В дальнейшем я руковожусь в моих воспоминаниях сохранившимся у меня комплектом писем П. Б. за эти годы и привожу из них текстуально все наиболее интересное (снабжая их, где необходимо, пояснительными примечаниями).

В следующем письме, от 19 ноября 1939 г., П. Б. мне пишет (на этот раз и впредь уже по-русски):

«Дорогой друг, вчера я читал\*) доклад о твоей книге «Непостижимое». Собралось человек около 25 — членов института не было, их существенный признак, по моему определению, в том, что они заседаний не посещают. Доклад мой был сознательно построен так: я прочел, с намерением сохранить связь и связность, самые, на мой взгляд, важные места из твоей книги. Поэтому доклад мне самому доставил большое наслаждение — я снова воспринял и пережил твою мысль, и не только ее содержание, но и ее форму, местами исключительно удачную. У меня сейчас очень много работы, и поэтому я пишу только самое главное. Я убежден, что из твоей книги о «Непостижимом» необходимо составить для широкой публики *breviarium* (*breviaire*) (сокращенный вариант). Может быть именно в этой форме следует издать ее во французском переводе.

Засим с точки зрения архитектуры твоей книги: гораздо рельефнее, чем ты это сделал, нужно выдвинуть идею антиномичности дискурсивного «изложения» в понятиях того, что ты называешь «непостижимым». Я полагаю, что такое «описание» непостижимого в понятиях не только обречено быть дуалистическим, но и многоликим, плуралистическим. Этот плурализм может быть *in specie* только дуализ-

---

\*) В заседании Русского научного института в Белграде.

мом, но это обуславливается лишь содержанием тех или иных высказываний. Любопытные мысли пришли мне в голову, когда я перечел (после своего доклада о тебе) Бергсон, *Les deux sources de la morale et de la religion* («Два источника морали и религии» — Бергсона) (о Бергсоне я говорил раньше, до доклада о твоей книге). Ты гораздо больше логик и гносеолог чем Бергсон. Последний во всех своих построениях выдает и свой биологический интерес (что мне, вследствие моего «зоологического» прошлого\*), очень близко!). Но это завело бы меня сегодня слишком далеко.

Нина Алекс. просит тебе сообщить, что выдержки из твоей книги, мною обильно прочтенные<sup>2</sup>, привели ее в восторг и по мыслям и как литературное произведение...»

В те дни я приступил к писанию книги «Свет во тьме» (доселе — 1944 г. — еще не опубликованной), посвященной главным образом, критике — с точки зрения христианской религиозной метафизики и морали — социального утопизма. Я сообщил замысел книги П. Б., и он мне ответил (9 декабря 1939 г.):

«Твой новый литературный план меня очень интересует. Ты знаешь, что я всегда был критиком и отрицателем утопизма в его практическом варианте. Утопия допустима лишь постольку, поскольку с нею не соединяется максималистская гордыня. Утопизм плюс максимализм есть величайшая гордыня и величайшая ложь. Если ты, может быть, помнишь, я спорил на эту тему с религиозным социалистом Мережковским (см. «Русская Мысль» за май 1914 г.) и эта мысль есть вообще теоретически выработанное и

---

\*) П. Б. был в юности сначала студентом естественником.

\*\*) Н. Ал. к тому времени была уже почти слепая, и П. Б. постоянно читал ей не только получаемые им письма, но и то, что могло ее интересовать из книг.

практически заработанное мною духовное достояние, на котором мы давно с тобой сходимся».

Дальше в письме следует суждение о политических событиях времени:

«Моя точка зрения сводится к формуле: в один мешок! И национал-социализм и большевизм должны не только реально, но, главное, духовно, попасть «в один мешок». Сейчас очень немногие это понимают, и еще менее в этом смысле ориентирована практическая политика, хотя, казалось бы, после соединенного насилия над Польшей и Финляндией положение должно было бы быть ясно. (Книгу Раушнига\*) я знаю и считаю самым крупным явлением в литературе переживаемого мирового кризиса). Сталин, к счастью, оказался менее хитер, чем можно было бы бояться, и если он, в отличие от Гитлера, не сумашедший, то во всяком случае не меньший дикарь».

В постскриптуме того же письма П. Б., по собственной инициативе, давал мне литературные указания на тему задуманной мной работы. Приведу из него отрывок, характерный для его постоянной способности отыскивать и знать никому неизвестные книги: «Из старой французской литературы я очень высоко ставлю книгу иезуита Феликса *Le socialisme devant la société*, (социализм и общество) Париж, 1878 г. Этой книге больше 60 лет, но она не утратила до сих пор своего значения, хотя совершенно забыта. В ней, конечно, много одностороннего, но в то же время удивительное прозрение. Достань себе эту книгу. В ней предвосхищено многое из «Вех» и из моих

---

\*) "Die Revolution des Nihilismus" (Революция нигилизма) — документированное изображение и обличение разрушительного существа национал-социализма одним из бывших его видных сотрудников. Я запрашивал мнения П. Б. об этой, прочитанной мною книге.

статей о социализме. Но я лишь в эмиграции познакомился с этой книгой — все собирался о ней напомнить и самим французам, ее совершенно забывшим (даже католики ее забыли)».

8 февраля (26 января старого стиля) 1940 г. П. Б. исполнилось 70 лет. Мне очень хотелось, чтобы этот его юбилей был, несмотря на военное время, хоть как-либо отмечен в русской эмигрантской печати. Не имея прямого отношения к редакции «Последних Новостей», я просил В. Б. Ельяшевича побудить редакцию поместить к этому дню юбилейную статью. Ельяшевич отвечал мне, что редакция, на его запрос, выразила готовность поместить мою статью о П. Б. — все равно за моей ли подписью или без подписи. Я тотчас написал краткую заметку, умышленно составленную в сдержанном тоне, приемлемом и для политических противников П. Б., предоставляя самой редакции решить, предпочитает ли она поместить заметку за моей подписью или как редакционную. Несмотря на данное обещание, заметка не была напечатана, и юбилей П. Б. прошел неотмеченным в печати. От себя самого я в краткой открытке (во избежание замедления, из-за военной цензуры, доставки письма) поздравил П. Б., сказав ему, что русское общество не забудет его заслуг в истории русской мысли и науки.

Как я потом узнал из письма Нины Александровны, только еще немногие близкие друзья вспомнили этот день и приветствовали в письмах П. Б. Он сам тщательно скрывал этот день от своих знакомых в Белграде, так что он прошел неотмеченным.

Поблагодарив меня за мое приветствие, которое, как он писал, доставило ему «настоящую радость», П. Б. (в недатированной открытке от февраля 1940 г.) пишет мне: «Как ни плохи разные внешние об-

стоятельства жизни, — я давно не ощущал такой ясности мысли и твердости воли, как сейчас, в это трудное время». Мне, хорошо знавшему П. Б., не трудно было разгадать многозначительный смысл этих кратких слов. «Плохие внешние обстоятельства» были его материальная нужда и угнетавшая его моральная изолированность в Белграде. Но этот одинокий, нуждающийся, почти забытый обществом 70-летний старик, перед лицом нового мирового положения, не только с исключительной ясностью мысли осознал его для себя, но и со свойственной ему морально-политической чуткостью реагирует на него «твёрдой волей», то есть занимает в отношении его совершенно определенную морально-волевую позицию. Он увидел и почувствовал новое, надвинувшееся на мир страшное зло и — вопреки моральной и интеллектуальной слепоте в отношении этого зла большинства людей «правого» образа мыслей — встретил его решительным отпором. Духовно он опять неудержимо ринулся в новый бой.

В той же открытке, сообщая о посылке мне в подарок книжки «Максим» Бальзака, составленной *Barbey d'Aurevilly*, П. Б. приписывает свое мнение о Бальзаке: «Бальзак был, конечно, настоящий *Voyant*, (Ясновидец), и хотя он не был мыслителем, и в политике многое не видел и не понимал, — его «мысль» дает много весьма интересного».

Из следующего письма П. Б. — от 7 марта 1940 г. — приведу одно место:

«Фельетоны Зензинова в «Последних Новостях»\*) я читаю внимательно. Да, Россию страшно понизили

\*) Зензинов в то время поехал в Финляндию и писал в «Последних Новостях» о своих впечатлениях от встреч и бесед с пленными русскими большевиками.

и принизили ложью и дурманом — от этого придется лечиться целыми десятилетиями, да и можно ли будет вылечиться целому народу? Во всяком случае истории придется тут — я в этом всегда был уверен — пустить в ход *medicamenta heroica* (героические лекарства)».

После разгрома и оккупации Франции летом 1940 года откровенное обсуждение в письмах политического положения стало невозможным. События того времени склонили многих к убеждению в окончательной победе Германии и того нового порядка вещей, который она с собой несла, и в историческом крушении традиционных начал европейской культуры. 15 декабря 1940 г. П. Б. пишет мне:

«Соответственно своему нраву и своему темпераменту, я в конечном счете оптимист и стремлюсь внушиТЬ всем мысль, что нужно готовиться и быть готовым к хорошему исходу всех событий. Что это означает в моих устах, тебе должно быть ясно».

То же письмо содержит личное признание:

«Мы с Ниной Александровной, в особенности заметно для нас самих, стареем и хорошо понимаем, что приближаемся к последней черте. Поэтому я озабочен тем, чтобы довести свои научные работы до последнего доступного мне конца».

Это признание, в отношении П. Б. и Н. Ал., имеет особое значение. Оба они, каждый по своему, обладали, можно сказать до последнего дня жизни, неукротимой жизненной энергией и страстным интересом к жизни. Поэтому мысль о смерти — то, что церковь называет «память смертная» — плохо укладывалась в их сознание и реально не принималась ими в расчет в плане осуществления задач, которые они себе ставили, и в их общем отношении к текущим интересам жизни.

Когда я однажды — это было в 1930 году, во время моего пребывания в Белграде — сказал П. Б., что, чувствуя приближение старости, я стараюсь сосредоточиться на самом существенном, не растративая времени и сил на второстепенное, он, улыбнувшись, ответил мне: «А я, вот, никогда не рассчитываю своих сил и возможностей». Теперь, наконец, вступив в восьмой десяток лет, они оба впервые почувствовали близость конца. К сожалению, П. Б. так и не удалось в практическом построении своей жизни реально учесть это новое сознание. Уже тотчас же по получении этого письма я мог в этом убедиться. П. Б. прислал мне несколько новых оттисков своих научных работ. В числе их было очень специальное, обоснованное на изучении большого исторического материала, лингвистическое исследование «О происхождении слов «оттого что» и «потому что» в русском языке». Прочитав его, я испугался при мысли, что на восьмом десятке лет, П. Б. тратит свои силы на такие детальные побочные работы, вместо того, чтобы сосредоточиться на главном труде его старости — русской истории. В ответ на мое предостережение он пишет мне (4 февраля 1941 г.):

«Ты жалеешь, что я занимался историей языка. Но это было 10 лет тому назад и произошло, или вернее, делалось попутно. Кроме того, я по своей натуре и по каким то «этическим» мотивам исследователь. Верно, что я должен был бы себя в этом отношении обуздывать».

Но «обуздить себя» ему так и не удалось, и поэтому его научные работы так и остались недоведенными «до последнего доступного ему конца» — о чем сейчас же ниже.

В декабре 1941 г., я, закончив упомянутую выше книгу «Свет во тьме», поделился с П. Б. основными ее мыслями.

П. Б. ответил мне в письме от 4 января 1941 г.:

«Основную мысль твоего нового труда\*） я, — как ты знаешь, — вполне разделяю. Я давно утвердился в этой мысли и давно ее провожу. По-моему, она имеет огромное практическое значение и в индивидуальной, и в социальной педагогике, то есть в области социальной (и в частности уголовной) политики. В сущности, в этой мысли заключалась основная истина и правда «Вех». В основе всей этой проблемы, по-моему, лежит проблема и загадка Греха, — проблема, к которой можно и должно подходить и с религиозно-богословской, и с позитивно-исторической стороны. И оба пути ведут к одному выводу, в котором смысл и всей твоей книги, как мне это кажется. Твоя книга будет полезна и может приобрести руководящее значение для борьбы с сведением религиозной проблемы человека и общества к построению рая на земле, что порочно и по существу и весьма, если можно так выразиться, «непрактично».

В том же письме П. Б. сообщает мне, что он и Н. А. «в ужасные холода, которые были здесь, жестоко простудились». Это было как бы прелюдией к тем бедствиям, которые вскоре их постигли. Я имел от них еще известие, что, несмотря на предчувствие надвигающейся на них грозы, они весело провели с друзьями масленую неделю. Затем произошло немецкое нашествие на Сербию, начавшееся, как известно, с нескольких жесточайших воздушных бомбардировок Белграда, приведших к тысячам жертв. Связь между нами

---

\*) Как я уже упомянул выше, она состояла из принципиально-философской критики социального утопизма. Я пытаюсь обосновать идею, что социальному реформированию жизни средствами права и государства поставлены имманентные пределы: оно может только сдерживать силы зла, ограждать жизнь от них, а никак не уничтожать сущностно само зло. Последняя задача принадлежит к совсем иной сфере и осуществима лишь в порядке внутреннего проникновения жизни благодатными силами (да и то, в плане земной жизни, всегда лишь частично).

прекратилась. С величайшим волнением я и другие друзья П. Б. думали о неизвестной нам судьбе П. Б. и Н. А. Все попытки узнать об их судьбе через Красный Крест оставались тщетными. Осенью, из письма его сына, Аркадия, который в качестве французского поддданного, был выслан немцами во Францию, мы наконец узнали, что П. Б. и Н. А. оба живы, но что П. Б. арестован. Позднее пришло известие, что он увезен в Грац. Прошли еще долгие мучительные месяцы, пока мы не узнали, что он освобожден и вернулся в Белград. Мы с ужасом представляли себе нужду и бедствия, среди которых обречены жить старики (Н. А., к тому же, почти слепая), лишившиеся еще поддержки сына. Друзья из Швейцарии писали, что попрежнему не удается ни связаться со Струве, ни переслать им деньги. Мой старший сын, проживавший в Англии, писал, что до него доходят самые мрачные слухи о судьбе П. Б. и Н. А. «Должно быть погибнут!» Думать это было ужасно. К счастью, оба они уцелели, несмотря на ужасающие условия жизни (Нетопленный чулан — квартира их была разрушена, — в который старики только возвращались ночевать, бродя целый день по знакомым, чтобы согреваться!). Наконец, они получили разрешение переехать в Париж к своим детям. С этого момента возобновилась наша переписка. Сначала — по действующим в то время правилам — можно было переписываться только открытками на французском языке. Если не ошибаюсь, только с начала 1943 года стала возможной нормальная переписка.

После нескольких открыток чисто личного характера, из которых я узнал интересовавшие меня подробности о новых условиях их жизни — они, наконец, после всех пережитых испытаний, очевидно тяжело отразившихся на здоровье их обоих, получили возможность жить в относительно сносных условиях, и, как писал мне П. Б., «опереться на детей». П. Б. пишет мне:

(31 марта 1943 г.) о своих научных занятиях (он сразу же по приезде в Париж, конечно, принялся напряженно работать, проводя целые дни в Национальной библиотеке). Письмо интересно и тем, что в нем выражено философское кредо П. Б.

«Я очень рад, что ты, как видно из твоего письма, сохранил свою работоспособность в полной мере и работаешь. Я, за исключением относительно короткого времени, когда не мог ничего писать и только думал\*), тоже много работал. Как всегда было и раньше, у меня много планов умственной работы. Сейчас я на первый план поставил свою «Русскую историю». Работа трудная, ибо я могу исторически и вообще научно работать, только соединяя широчайшие «обобщения» с детальным «исследованием», а исследовательская работа и требует необычайной точности, и поглощает много времени. Последнее время в Белграде, я «на время», отчасти по невозможности и трудности получения книг, перестал писать русскую «Историю» и начал философскую работу, решив фиксировать свою «Систему критической философии». Я от вас, то есть от тебя и от Лосского, которого я, как философа и писателя, лично совершенно не «гтирую», тогда как тебя я очень высоко ценю и как философа, и как писателя — от вас обоих я отличаюсь тем, что, будучи скептиком, я убежденный агностик, и мой «теоретический агностицизм» психологически и по существу как-то связан с практическим «консерватизмом». Если мне удастся довести до конца свою «Систему критической философии», эта связь религиозно-метафизического агностицизма с практическим «консерватизмом», построенным, как у Аристотеля, на идее *Мεδότης* (медотес), будет как бы важнейшим пунктом всей моей философии, не только социальной, но и религиозно-метафизической. В то же время, она не только враждеб-

---

\*.) Очевидно, намек на его двухмесячный арест.

на, но и прямо отвергает принципиально столь модный «прагматизм», который, по-моему, есть наивное недоразумение. Кроме «Истории» и «Системы критической философии» я начал писать «Историю экономического мышления». В этом направлении моя лекция сошлась с твоей: я перечитал Гомера и начал систематически ту же работу в отношении греческих tragedиков (пока я проработал Эсхила). Моя «История экономического мышления» задумана не как история мнений и доктрин, а как история «мышления» и поэтому требует тщательного использования и общей литературы».

Узнав об этих грандиозных научно-литературных планах 73-летнего старика — каждый из которых требовал бы нескольких лет напряженного труда — я послал П. Б. дружеское увещание не разбрасываться, а сосредоточить свои силы на каком-нибудь одном, самом главном и важном для него научном труде. Одновременно дал ему такой же совет и проживавший поблизости от меня старый друг его семьи, Вл. А. Оболенский, которому он тоже сообщил о своих научных планах. Он отвечал одновременно и Оболенскому и мне. Привожу существенное из обоих ответов.

Оболенскому он писал: «Ваши наставления и предостережения я хорошо понимаю. Я чувствую, конечно, «фатальное» уменьшение сил в моем возрасте, но то, что я писал о своих работах, в значительной мере относится к прошлому, к уже продуманному и написанному. Сейчас же я все свое внимание и все свои силы сосредоточил исключительно на своей «Истории», которую я хочу во что бы то ни стало кончить. Трудность этой большой работы состоит, как я уже писал, в соединении обобщений с исследованием. Обобщения у меня готовы, но из исследовательской «привычки» я должен иногда прочесть 100, 200, 500, 1000 страниц первоисточников для того чтобы написать 1, 2, 5,

20 строчек «своего» текста. Иногда в процессе своей работы я изменяю не столько свои обобщения, сколько их формулировку...»

Мне П. Б. одновременно писал (23 апреля 1943 г.):

«...Как я пишу и Вл. Андр., ваши дружеские наставления-предостережения я вполне понимаю. Но одну часть своей «Системы критической философии» я уже написал, а важнейшие принципиальные главы «Истории экономического мышления» мною тоже уже написаны — обе рукописи остались в моем прежнем местожительстве\*), здесь я пока оставил обе эти работы и их не продолжаю и все свои оставшиеся небольшие силы сосредоточил на «Социальной и экономической истории России». Я ощущаю некоторое ослабление моей былой памяти в отношении фактов и названий, но обобщения мне даются теперь легче, как-то вольнее, чем прежде, и я как-то этого даже боюсь и как историк заставляю свои мысли подвергать строгой исследовательской проверке».

За этим успокоительным заверением разумной экономии сил следует, однако, фраза, в значительной мере его опровергающая. С каким трогательным детским лукавством он пишет мне: «Я даже всех своих писательских планов не сообщил тебе: и хорошо сделал, ибо ты бы еще больше предостерегал меня».

Ясно, что, даже сосредоточив свои силы на одной работе, он продолжал думать и внутренне творить во многих направлениях сразу.

Письмо заканчивается признанием, в котором не трудно уловить трагическую ноту: «Трудность моего положения заключается в том, что я окончательно «созрел», как писатель и ученый, на седьмом и восьмом десятке лет, когда физические силы, к которым относится и чисто «внешняя» память, находятся в упадке

---

\*.) В Белграде. — Повидимому, они там пропали.

или, по крайней мере, движутся по убывающей кривой».

В ответ на это признание я привел П. Б. вполне применимое, как я думаю, к нему суждение Гете, что творческие натуры имеют не одну, а две эпохи расцвета, и что вторая приходится на старость.

Напряженная работа П. Б. была прервана новым, исключительно трагическим для него событием: 26 мая 1943 года скончалась, после довольно долгого угасания, подруга его жизни Нина Александровна. В самый день ее смерти он написал мне и моей жене: «Вы понимаете, что это значит для меня и для моих сыновей. Скончалась она не без мучений, но в изумительном по красоте и прелести душевном мире». Через десять дней, в письме от 6 июня, он пишет нам снова. Благодаря нас за выражение сочувствия, он прибавляет: «Да, ее смерть, несмотря на временные мучения тяжелой болезни, была прекрасна! У нее было своеобразное мироощущение, никогда ее не покидавшее. Она по-христиански любила мир и так же любила жизнь. Это любвебилие и жизнелюбие ее души как-то просветляли мир и его покоряли. Я чувствую во всех отношениях и смыслах, что она живет с нами и согревает нас своей любовью». И затем, в следующем письме от 21 июня 1943 г.: «Я лично чувствую себя физически удовлетворительно, а духовно вполне способен работать, чувствами же живу в каком-то общении с почившей, образ которой, просветленный и озаренный, постоянно присутствует в моей душе...»

Чтобы понять всю силу удара, постигшего П. Б., надо знать, кем была для него Н. А. Человек редчайших душевных качеств, излучавшая из себя целые потоки любви, которыми она озаряла всех, приходивших в соприкосновение с ней, неизменно бодро-оптимистически настроенная, даже при тягчайших испытаниях (она и умерла со словами: «Как все хоро-

шо!») — Н. А. была не только женой П. Б., матерью дружной семьи из пяти сыновей, не только умела организовать домашнюю жизнь такого бурного и беспорядочного человека, как П. Б. Будучи типично русской интеллигентной женщиной, она разделяла и все его идеиные интересы и волнения. Благодаря своей неутомимой работоспособности — в течение десятилетия она спала не более 5-6 часов в сутки — она сумела с задачей матери и хозяйки сочетать, вплоть до своего последнего одряхления, работу секретаря и технического сотрудника всех начинаний П. Б. Всю свою жизнь она была его ближайшим неизменным другом, которому он доверял самые интимные свои чувства и мысли. Когда она на старости ослепла, он, как я уже упоминал, читал ей и книги, и все получаемые им письма; после ее кончины он (в письме к В. А. Оболенскому) признался, что ловит себя на мысли поделиться с ней полученными им выражениями сочувствия.

И все же П. Б. с свойственной ему духовной силой воли сравнительно быстро оправился от понесенного им удара. В устройстве внешней жизни и в его научной работе ему помогал его младший сын Аркадий — его неизменный секретарь в течение 15 последних лет его жизни. «Адя внимательно и трогательно ухаживает за мной», — писал он мне в августе 1943 г.

Уже в июне того же года П. Б. в состоянии дать мне некоторые литературные указания. Занимаясь проблемой философии творчества и зная начитанность П. Б. во всех областях знания, я спросил его, не знает ли он какой-нибудь литературы по этому предмету. П. Б. называет мне какую-то этому посвященную новую книгу и затем сообщает, что «этой проблеме посвящены замечательные строки в каком-то произведении Жюля Мишле». «Кстати» он обращает мое внимание «на его биографию, представляющую исклю-

чительный философский интерес». Затем идет список ряда книг по биографии Мишле и обстоятельная характеристика этого писателя. Письмо кончается трогательным постскриптулом. Зная, что я страдаю слабостью сердца, П. Б. дает мне совет: «Береги свое сердце. Всячески избегай утомления, как это ни скучно!» Увы, сам он не избегал утомления и своего собственного сердца не уберег!

В следующем письме от 27 августа, считая приведенные им литературные указания недостаточными, он извиняется передо мной, что еще не дал ожидаемых мной справок, оправдываясь тем, что «был очень занят и, кроме того, прихворнул, что меня на время выбило из колеи». За этим следует интересное сообщение о ходе его работы: «Я много работал в Париже (П. В. пишет из имения В. Б. Ельяшевича, куда поехал отдохнуть) в библиотеках. Работа, как я ее произвожу, чрезвычайно трудная, ибо в моем возрасте, с той скоростью или, вернее, медленностью, с которой я работаю, соединить исследование по первоисточникам с обобщениями неимоверно трудно. Не знаю, получится ли то, что я хочу сделать, т. е. создать новый синтез всей русской истории, который должен приобрести и теоретическое значение, и действительно-практический смысл — по самому своему содержанию. Сейчас меня отвлекает от главного хода или, вернее, тока моих мыслей одна маленькая работа, однако, такая, которая должна быть основана на том же материале, который лежит в основе моей большой работы». Следует отзыв о прочитанной им книге Pierre Pascal'я: “Avvakum et les débuts du rascol” (Пьера Паскаля: «Аввакум и начало раскола»): «То, что француз мог написать такую книгу, свидетельствует о том громадном богатстве культуры, которое накопили французы...» В том же письме П. Б. выражает надежду на скорое свидание со мной (что означа-

чало также надежду на скорое окончание войны): «Я надеюсь, что уже в обозримом будущем, если Бог даст нам обоим жизни, мы с тобой увидимся и поделимся нашими мыслями и чувствами...»

Следующее письмо, снова из Парижа, от 1 октября 1943 г., и в изменившемся почерке, и отчасти в содержании, носит довольно явственные, опечалившие меня признаки одряхления. О своей работе П. Б. сообщает: «Я довольно хорошо работаю — количественно я не могу так много работать, как прежде, но мне кажется, что качественно я работаю скорее даже лучше, чем в прежнее время...» Затем следуют строчки, свидетельствующие о состоянии духовного просветления и благостности, в котором, по отзывам видавших его, он находился в последние месяцы своей жизни (что не мешало ему, однако, при политических спорах приходить в величайшее возбуждение). Говоря об одном знакомом, он пишет, что в некоторых отношениях в нем разочаровался, «но это не отразится на наших личных отношениях — я стал лично гораздо более терпимым, чем был недавно». Письмо кончается трогательными словами ко мне и моей жене: «Обнимаю вас обоих, дорогие друзья. Да подкрепит и хранит вас Господь».

Озабоченный состоянием его здоровья, а также и тем, что он попрежнему разбрасывается и тратит свои силы, принимаясь одновременно со своей главной работой еще и за другие (как он об этом пишет в приведенном письме от августа), я снова убеждал его сосредоточиться на основном, причем на этот раз я прямо советовал ему, оставив кропотливую исследовательскую работу по деталям, зафиксировать его собственные основные обобщения по русской истории. Я долго не получал ответа. П. Б. ответил мне только 1 января 1944 г.; это было последнее письмо, мною полученное от него. Оно настолько характер-

но и для его последнего умственного и духовного состояния, и для всего его облика, что я привожу его здесь полностью.

«Дорогой друг, я очень мучаюсь тем, что давно тебе не писал. Но я был так поглощен своей литературной работой, внутренне поглощен ею настолько, что ни на что другое у меня не хватало просто сил. Кроме того, подоспела осень и зима с ее кратким светлым временем, которого, при размахе моей работы, не хватает на самое нужное. Я очень принял к сведению твой разумный совет: сосредоточиться на самом главном, на обобщениях, на моих собственных мыслях. Но тут трудность не внешняя, а внутренняя — нужно получить уверенность в своих собственных обобщениях. Чем они важнее, тем более нужна такая внутренняя уверенность в том, к чему интуитивно пришел. Когда пишешь, то всегда в своем лице имеешь и собственного критика, придирчивого и неотвязного. Задача моя не малая: дать новый и в известном смысле безжалостный синтез русской истории, — не российского пространства, а русской культуры и Российской государственности.

Эту умственную задачу я не только разрешаю, но переживаю всеми фибрами своей души, ясно видя, что мне остается уже очень небольшой кусочек жизни в смысле творческих возможностей и способностей.

Извини, что я занимаю тебя в этом письме собою, но, к сожалению, другими мыслями, может быть, для тебя более интересными\*), я не могу тебя сейчас занять, хотя они и меня теперь не оставляют. Но и они выстраиваются для меня в исторической перспективе, которая у меня вырисовывается.

---

\*.) Намек на политические и военные события времени.

Желаю вам и всем вашим, дорогие друзья, исполнения всех желаний в наступающем году, который, как надо надеяться, принесет измученному миру успокоение.

Обнимаю вас, дорогие друзья.

Любящий вас П. Струве».

Так его мысль и вся его душа жила в последние месяцы и дни его жизни одной темой, в которой слились воедино два главных интереса его жизни, научный и политический — вопросом о судьбе родины в ее прошлом, настоящем и будущем. Ко дню его рождения, 8-го февраля, я его приветствовал с нежной любовью и еще раз просил беречь себя — для нас, его друзей, и для родины, которой он еще нужен. На это письмо я уже не получил ответа. Еще 25-го февраля он целый день провел в Национальной библиотеке, дважды съездивши до нее из Отэй по метро. На ночь, легши в постель, он еще читал «Итальянские путешествия» Гете. Проснувшись в 5 часов утра 26-го февраля, он почувствовал себя плохо, позвал своего сына Аркадия — и через 10 минут скончался. «Загонял себя наш бедный старик, не выдержало его ретивое сердце», — писал его сын Алексей, уведомляя меня об его кончине.

Он умер, как жил — на посту мыслителя и борца.



## **УМСТВЕННЫЙ СКЛАД, ЛИЧНОСТЬ И ВОЗЗРЕНИЯ П. Б. СТРУВЕ**

В моих воспоминаниях о П. Б., я пытался обрисовать умственный склад, личность и воззрения П. Б., как я постепенно их узнавал в течение моего почти полувекового дружеского общения с ним. Я старался при этом умышленно, насколько это было возможно, воздерживаться от обобщений и ограничиваться приведением фактов, — лишь в исключительных случаях, где было необходимо для понимания самих фактов, отступая от этого приема и давая общую характеристику П. Б. Поэтому мои воспоминания суть скорее материалы к истории его жизни, к его биографии (подлинная его биография — само собой разумеется — есть дело будущего историка русской мысли и общественности), чем синтетическое описание его, как личности и мыслителя. Подводя итоги сказанному выше, мне хотелось бы дополнить эти материалы к биографии П. Б. попыткой обобщающей его характеристики. Я не ставлю своей задачей дать законченно-целостный портрет его умственной и духовной личности — это задача художника слова и мысли, к которой я не чувствую себя способным; я хотел бы только набросать несколько отдельных, наиболее существенных, по моему впечатлению, штрихов, из которых он складывается.

Я начинаю с характеристики его умственного склада. Первое, что при этом бросалось в глаза вся-

кому, кто интеллектуально общался с П. Б. — это редкая, едва ли не единственная в наше время многосторонность его интересов и знаний. Широкая публика, привыкшая, что в наше время даже самые выдающиеся личности укладываются в какую-нибудь профессиональную категорию, подводила его под две рубрики: для нее он был ученый профессор-экономист и политик. Но всякий, лично знавший П. Б. или даже ближе знакомый с его писаниями, должен был сознавать, что его личность и деятельность никак не исчерпывались этими понятиями. Уже на простой общий вопрос: кто такой П. Б. Струве — ученый? писатель? политик? — единственный правильный ответ будет: всё вместе в нераздельном единстве личности. Очарование его личности состояло именно в том, что он был прежде всего яркой индивидуальностью, личностью вообще, т. е. существом, по самой своей природе не укладывающимся в определенные рамки, а состоящим из гармонии противоборствующих противоположностей (*coincidentia oppositorum*, употребляя философский термин Николая Кузанского). Не раз его друзья огорчались тем, что он растратывает себя, разбрасываясь в разные стороны, и, как я упоминал в воспоминаниях, мне самому приходилось в последние годы его жизни предупреждать его об этой опасности. Мне известно, что приглашение его на профессуру в Политехнический институт имело отчасти — у друзей, которым принадлежала инициатива этого приглашения — задачу отвлечь его от политики и публицистики и заставить сосредоточить свои силы на научном творчестве. Все это было тщетно, ибо личность нельзя изменить, а личность П. Б. могла выражаться и находить себе удовлетворение только в полноте многообразных и противоречивых интересов и разного рода деятельности. В этом отношении он — немец по происхождению —

был типически русским духом; он походил своим умственным и духовным складом на такие типично русские умы, как Герцен, Хомяков, Вл. Соловьев, — с той только разницей, что они были гениальными дилетантами (или, как Вл. Соловьев, специалистом только в одной области), тогда как П. Б. был настоящим солидным ученым сразу в весьма широкой области знаний.

Пытаясь определить, прежде всего, сферу его научного творчества и научных интересов, нужно сказать, что она охватывала едва ли не все области «гуманитарных знаний» — политическую экономию и статистику, социологию, историю во всех ее подразделениях (политическую историю, историю права и государства, хозяйственную историю, историю культуры), правоведение в двух основных его отделах гражданского и государственного права, историю литературы, по крайней мере 18-го и 19-го века и, наконец, даже языкознание и философию. Конечно, не все эти науки имели одинаковое значение и занимали равное место в его творчестве; подлинным ученым специалистом в течение первой половины своей жизни он был преимущественно в области политической экономии (одновременно экономической теории и истории хозяйства), статистики и социологии; под старость он стал едва ли не первым по знаниям и оригинальности мысли из современных русских историков и считал научное творчество в этой области главным своим призванием. Но, во-первых, его научный горизонт по этим основным его специальностям был так широк, что всегда охватывал целый ряд смежных наук. Так, в работе над книгой «Хозяйство и цена» он стал основательным знатоком истории гражданского права с древнейших времен, в частности римского права, и ряда других наук; в работе над русской историей он изучил историю русского язы-

ка и написал по нему несколько этюдов (о происхождении слова «крестьянин», об истории словесных оборотов «потому что» и «оттого что»). История экономических учений превращалась для него, как это видно из одного из его последних писем ко мне, в историю экономической мысли, для которой он изучал общую литературу, начиная с Гомера и греческих трагиков. А затем, на другие области научного знания он совершал по временам как бы «налеты» из чистой любознательности, необычайно быстро овладевая их литературой и становясь в них скорее настоящим знатоком, чем дилетантом; по некоторым из них он оставил самостоятельные работы и исследовательского и творческого характера (например, по философии, по истории русской и европейской литературы 18-го и 19-го века, по истории русской науки); но даже в областях знания, по которым он сам ничего не писал, он становился основательным знатоком. Так, в 20-х годах, живя в Париже и редактируя «Возрождение», он погрузился в изучение исторической грамматики французского языка; в одном из разговоров с ним я убедился, что он с исчерпывающей основательностью изучил всю литературу государственного права; и таких примеров можно было бы привести еще множество. Но его знания не ограничивались даже всей сферой гуманитарных наук, а распространялись на смежные с ней области естествознания — отчасти в исторической перспективе (так, он был знатоком истории русской науки, включая историю математики и естествознания в России — в частности историю деятельности немецких ученых естественников и математиков в России), отчасти в связи с его общими философскими и социологическими интересами. Из этой последней сферы приведу один пример. В связи со своим учением об обществе, как системе взаимодействия между индиви-

дами, он изучил литературу недавно возникшей новой биологической науки «экологии» (науки о формах совместной жизни и взаимодействии в животном и растительном царстве). Говоря однажды со мной о нелюбимом им австрийском социологе Отмаре Шпанне, стороннике отрицаемой П. Б. органической теории общества, и цитируя фразу Шпанна, в которой органическое единство общества противопоставлялось механической совокупности деревьев в лесу, П. Б. сказал: «Он настолько невежествен, что даже не знает о существовании целой науки экологии». Я подумал при этом, что по меньшей мере девять десятых знаменитых и ученых социологов должны быть по этому признаку зачислены в разряд невежд.

Такого рода широта научного творчества и знаний предполагает, кроме широты интересов, еще особый дар — память. Всякий, кто встречался и беседовал с П. Б., знает, что он обладал почти сверхчеловеческой силой памяти. Он, казалось, никогда не забывал раз узнанные или где-либо вычитанные факты, данные, названия и мысли. Читая необычайно быстро, он на всю жизнь запоминал прочитанное во всех подробностях и через 20-30 лет мог рассказать содержание книги, как будто прочитал ее накануне. Память его распространялась не на одни лишь данные научного порядка. Во время редактирования «Освобождения» он поражал меня и других тем, что знал служебную биографию и как бы мог на память составить служебной список едва ли не всех видных русских бюрократов (включая и губернаторов). В «Русской Мысли» он завел особый ежемесячный отдел некрологов, который он составлял сам, поминая жизнь и деятельность иногда до десяти людей, скончавшихся в истекшем месяце. Он очень дорожил такой биографической работой; когда однажды в редакции возникли сомнения в надобности этого от-

дела некролога, он горячо воскликнул: «Нет, уж оставьте мне моих покойников». Для своих друзей и собеседников он был ходячим энциклопедическим словарем.

Эта память, в связи с любовью к книге и быстрой усвоения прочитанного, делала его несравнимым знатоком общей литературы; он всегда умел находить бесконечно много забытых, мало кому известных или оставшихся неоцененными книг и был в этом отношении совершенно исключительным наставником. Некоторые факты, сюда относящиеся, из моего общения с ним я уже приводил; приведу здесь еще некоторые другие. В самом начале нашего знакомства он однажды написал мне: «Знаете ли вы письма Флобера? Вот чтение для богов — и для вас!» Благодаря этому указанию, я ознакомился с одним из величайших — по мыслям и форме — произведений французской литературы 19-го века — кажется, доселе недостаточно оцененным. Много позднее, он обратил мое внимание на замечательного и мало кому известного поэта Щербину. Но главная ценность его детальной литературной и исторической осведомленности состояла в том, что она существенно исправляла ходячие ложные суждения о деятелях прошлого. Так, например, от него я узнал, что Третьяковский — обычно только нарицательное имя для поэтической бездарности и педантизма — имеет заслугу первого введения в русскую литературу философской терминологии, или что Сенковский (в беллетристике — ничтожный «барон Брамбеус») был первоклассным ученым лингвистом, или что *bête noire* русской радикальной новейшей истории — граф С. С. Уваров — был не только заслуженным либеральным государственным деятелем, но и одним из самых образованных людей своего времени, ученым классиком, другом и почитателем Гёте. Таких примеров неожи-

данных, свежих, интересных указаний и независимых суждений, которые приходилось слышать от П. Б., можно было бы привести бесконечное множество.

Роль, которую играла в научном творчестве П. Б. его огромная память (унаследованная им, вероятно, от его деда, знаменитого астронома Струве, составителя каталога звезд), могла бы склонить к предположению, что главный интерес его умственной натуры состоял в эмпирическом установлении и описании фактов. Много знаменитых ученых составили себе славу именно как установители и собиратели фактических данных, из которых слагается эмпирическая реальность; таковы многие историки и представители описательного естествознания. Совсем не таков был умственный склад П. Б. Он, правда, любил познание фактов, так сказать, как таковое, любил обилие деталей, точность в описании эмпирической действительности; но в общем его умственном складе факты были для него только материалом для мысли, для обобщающих интуиций. То, что его влекло всегда к широким обобщениям, что он обладал даром интуитивного открытия новых истин, и что он вместе с тем всегда стремился тщательно проверять свои интуиции на частных фактах, опираться на детальное знание эмпирической реальности во всем ее бесконечном многообразии, всегда затрудняло его научное творчество, как это видно из его приведенных в моих воспоминаниях писем о занятии русской историей в последние годы жизни. Он ставил себе почти неосуществимую задачу сочетать одновременно и с ч е р п ы в а ю щ е е знание всего эмпирического материала с построением широких, как бы философских, обобщений. Ему никогда на практике не удавалось соблюдать мудрое правило Гёте: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” (мастер прежде всего сказывается в самоограничении); его обобщениям

угрожала всегда опасность либо утонуть в безбрежном количестве приводимого материала, либо оставаться только фрагментарными; и этим отчасти объясняется сравнительно малая — при его дарований — его научная плодотворность (вопрос, которого я подробнее коснусь ниже). Но если оставить в стороне вопрос, в какой мере эта полнота замысла была полезна или вредна в практике его творчества, обратить внимание только на самий его стиль, то можно сказать, что его целью было всегда — редко встречающееся в науке — гармоническое равновесие между эмпирическим и интуитивно-обобщающим моментами знания, между фактами и общими идеями. Так, по его основной специальности, решительно преодолев «классическую», т. е. абстрактную политическую экономию, он совсем не был сторонником противоположной, «исторической» школы политической экономии, просто отвергавшей теорию и заменявшей ее описанием хозяйственного быта, а стремился создать новый тип обобщающей теории хозяйства, основанный на установлении эмпирических закономерностей хозяйственной жизни. Таково же было и его основное педагогическое влияние на молодое поколение русских экономистов — его учеников: он учил их экономически мыслить, ориентируясь на эмпирической хозяйственной реальности. В философии его также влекло к тому типу философской мысли, который опирается на данные и выводы положительных наук.

Это сочетание философского интереса с эмпирическим, отвлеченной мысли с любовью к конкретной реальности было более, чем просто умственным складом П. Б. Оно было укоренено в самой его духовной личности. По первому, внешнему впечатлению он был типичным рассеянным «ученым» — или мечтателем, — человеком, погруженным в свои мыс-

ли и мечты, и не обращающим внимания на все окружающее. С ним не раз случалось, что он как будто просто не видел людей, находящихся в одной комнате с ним, забывал с ними поздороваться; и об его феноменальной рассеянности ходили, как я уже упоминал, целые легенды. Но это была лишь внешняя, бросающаяся в глаза, поверхностная сторона его существа. Его внимание, правда, шло своим особым, капризным путем, почти не считаясь — как у нормальных людей — с практическими нуждами жизненного обихода. Но под обликом рассеянности скрывались напряженное внимание и интерес ко всем конкретным деталям окружавшей его реальности; он жаждым, любовным взором всматривался во все, что встречалось на его пути, и, со свойственной ему силой памяти, надолго — едва ли не навсегда — все запоминал. Через много лет он мог подробно рассказать, какое платье носила женщина, которой он, казалось, совсем не заметил при встрече с ней. Этот, по наружному своему облику, по внешнему устройству и ходу своей жизни, типически русский интеллигент-аскет, неряшливый и беззаботный, для себя самого равнодушный к жизненным удобствам и благолепию, был, так сказать, бескорыстно страстным любителем жизни во всей конкретной полноте ее проявлений. Его практический аскетизм вытекал просто из его личного бескорыстия, из направленности его духа на созерцание жизни и на действенное моральное участие в ней; в нем не было и тени принципиального аскетизма, столь распространенного в русской интеллигенции и опирающегося на некое, по большей части неосознанное «гностическое» отвержение мира и презрение к нему, на врожденную, кажется, русскому духу тягу к «опрощению», на отвлеченный спиритуализм, для которого плоть, всякое цветение, богатство и полнота земного бытия сами по

себе суть зло или ненужная суeta. П. Б., напротив, по-пушкински или по-гётеевски благословлял жизнь, любил и ценил ее, страстно ею интересовался, считал все в ней важным и интересным, одобрял в ней не бедность, а богатство и полноту. Проживя сам всю свою жизнь отрешенным от жизни скитальцем, он духовно был человеком жизни, деятельным ее участником и строителем. Доминирующая в его миросозерцании идея культы — всяческой культуры, материальной не менее, чем духовной, или — точнее — неразрывного единства в культуре ее материального базиса и воплощения с ее духовной сердцевиной — вытекала из этой его органической обращенности на жизнь.

Это внимание к конкретной жизни и признание ее положительной ценности исключали для него возможность быть партийным человеком, быть плененным какой-либо партийной узостью, односторонностью и пристрастностью. Его любимым лозунгом было: «надо рассуждать по существу». «Рассуждать по существу» значило для него: оценивать явления жизни и ценность отдельных людей по их собственному внутреннему содержанию, по их объективной ценности — независимо от того, имеем ли мы дело с политическим другом или врагом и умеются ли такие объективные оценки в схему нашего политического миросозерцания, наших «общих принципов». Он постоянно боролся против распространенной в русской либеральной и радикальной журналистике привычки без разбору высмеивать политических противников, высказывать о них огульные отрицательные или пренебрежительные суждения, а также против привычки применять разные меры моральной оценки к врагам и друзьям. Я помню его возмущение, когда один из сотрудников «Освобождения» грубо-пренебрежительно отзывался в сво-

ей статье о литературном достоинстве публициста Каткова. Он искренно недоумевал, как вообще возможно высказывать такое пристрастное суждение. По поводу распространенного в радикальных кругах морального негодования (часто связанного со смакованием) на развращенность высших правящих кругов он говорил: «Почему Михайловский (Михайловский славился в писательском кругу своим донжуанством) может ежегодно менять своих возлюбленных, а великие князья не могут?» Его суждения о личном составе русской бюрократии — даже в эпоху юности, когда он был ее политическим врагом — всегда были индивидуальны: он отчетливо различал в ней между людьми одаренными и бездарными, просвещенными и грубыми, добросовестными и недобросовестными. И такое же различие между людьми он делал позднее в оценке своих политических противников слева. Я уже упоминал, что питая жгучую личную ненависть к Ленину, как натуре злобной и жестокой, он с почти благоговейным уважением отзывался о личности социал-демократки Веры Засулич. И вообще, одно из очарований его личности было сочетание в нем страстной убежденности, морального пафоса, с широким, терпимым, снисходительным отношением к людям, с признанием законности многообразия индивидуальных дарований, призваний и склонностей.

В этой связи я должен коснуться интимной стороны жизни П. Б., в которую я был посвящен — именно его отношения к женщинам и эротической любви. Делаю это не из намерения удовлетворить праздное любопытство читателя, а потому, что эта сторона жизни — обычно, естественно, остающаяся скрытой и неведомой другим — есть часто в некотором смысле пробный камень самого нутра человеческой личности — и что она особенно характерна для своеоб-

разия личности П. Б. В нем не было и тени легко-мысленно-эпикурейского, сма��ующего отношения к женщинам и любви, ни столь распространенного в русской радикальной среде фарисейского, аскетически-осуждающего или пренебрежительного отношения к этой сфере жизни. В основе обеих этих противоположных установок лежит столь свойственный русской душе (и, в частности, многим талантливым русским людям) цинизм; цинизм же был органически чужд и ненавистен П. Б. Этот погруженный в свои научные думы и в общественные заботы человек до поздних лет своей жизни оставался юношески-чистой, романтической душой, горящей благоговением перед женской красотой и перед святыней эротической любви. Его отношение выразимо пушкинской формулой: «благовея богомольно перед святыней красоты». Любви он придавал религиозное значение. Он уподоблял ее другой религиозной страсти своей души — любви к познанию. Он однажды сказал мне: «любовь к женщине и любовь к истине есть, собственно, одно и то же чувство». Эту глубокую философскую мысль, сродни платоническому учению об эросе и некоторым течениям мистики, например, «эротической философии» Баадера, он высказывал, как личный опыт. Он, прежде всего, страстно увлекался бескорыстно женской красотой. Так уже на пятом десятке лет он увлекся образом знаменитой красавицы лэди Гамильтон, возлюбленной Нельсона, покупал — и дарил мне — ее портреты и поместил в «Русской Мысли» переводный роман из ее жизни. В его личной жизни любовь — в самом глубоком и полном смысле этого понятия — играла огромную роль; он был органически неспособен на какое-либо легкомыслие в этой области.

Это отношение к эротической любви, в конечном счете, вытекало из главной определяющей черты

его нравственного существа; он был как бы насквозь, до последней глубины, натурой чистой и горячей. Большинство людей, производящих впечатление и оставляющих по себе память чистых, бескорыстных, святых личностей, имеют все же скрытые от других, часто скрываемые от себя самих, темные, мутные, корыстные низины души — обычно сказывающиеся при более близком будничном общении с ними. Ничуть не увлекаясь моей симпатией к П. Б., а стараясь оставаться совершенно объективным и трезвым, я решаюсь утверждать, что он был совершенно чужд всяких мелких, низменных, корыстных страстей и страстишек — в той мере, в какой это вообще возможно не «святому», а человеку жизни и жизненных страстей. Он хорошо знал себе цену и искренно и откровенно возмущался, когда встречал несправедливое отношение к себе — но именно так, как он возмущался несправедливым отношением к другим заслуженным людям. Но бескорыстие, отсутствие тайной оглядки на свои личные интересы, отсутствие мысли о личной карьере, репутации, материальном положении и вообще отсутствие всякой мелочности в жизни и отношениях с людьми давалось ему само собой, было в нем самой его природой. Я приводил уже тому примеры; но, в сущности, вся его жизнь и деятельность есть подтверждение этого. Когда в самом начале оппозиционного движения в царствование Николая II понадобился человек, который, рискуя на всю жизнь стать изгнаником, стал бы во главе заграничного оппозиционного журнала (материально обеспеченного, конечно, только на первые годы) — таким человеком оказался П. Б. Когда в эпоху антибольшевистской эмиграции ему казалось необходимым взяться за неблагодарную во всех смыслах задачу политического объединения эмиграции в борьбе против большевизма, — он без колебания взялся

за это, еще гораздо более шаткое дело, отказавшись ради него от предложенного ему тогда же почетного и во всех отношениях подходящего ему поста директора Экономического института в Софии. Он ни на мгновение не задумывался над тем, что этим он навлекал на себя неудовольствие левого чешского правительства, которое своим «иждивением» давало единственный прочный источник материального обеспечения русским эмигрантам-интеллигентам. И столь же равнодушен был он к своей общественно-политической репутации. Вся его публицистическая и политическая деятельность есть ряд «скандалов» — вызовов, которые он смело и не задумываясь бросал господствующему общественному мнению. Его жизнь была поистине сплошным бескорыстным служением — целиком была определена чувством долга.

«Чувство долга» есть только иное название для того состояния духа, которое точнее можно определить, как горение. Горячность в любви к правде и добру, негодование на неправду и зло были основным, длительным состоянием его души. Он был по природе страстным человеком, и вся эта страстность уходила на бескорыстное служение. Он был однаково и страстным мыслителем, искателем объективной истины, и страстным борцом за моральную правду и общественное строительство. Эти две страсти, на практике часто раздиравшие его жизнь, где-то в последней глубине его существа, сливались в единую страсть к правде — в том глубоком и первичном, религиозном смысле этого начала, в котором правда-истина и правда-справедливость суть все же лишь две стороны нераздельно-единой правды, как жизни в согласии с истинно Сущим. Огнем искания правды и обличения неправды и заблуждения он — видимо для всякого собеседника — загорался и вспыхивал и в теоретически-научных спорах, и в спорах и беседах

политических. Для всех, входящих в соприкосновение с ним, это было основным определяющим впечатлением от его личности. В конце 1905 года, после его возвращения из заграницы в Петербург, мне пришлось свести его с публицистом Г. Н. Штильманом (позднее близким сотрудником «Русской Мысли»). Мы обедали втроем в ресторане Палкина, и П. Б. излагал Штильману свои политические идеи. В момент, когда он отвернулся и замолчал, Штильман, наклонившись ко мне, шепнул мне: «Как он загорается!» И без малого сорок лет спустя, дряхлым старцем, прия в Париже, уже незадолго до своей кончины на собрание «клуба старииков», где седые, охлажденные долгим жизненным опытом люди мирно толковали о текущих политических событиях, он, как мне передавали, учинил настоящий разгром, яростно отстаивая свое, для большинства парадоксальное понимание исторического смысла совершающегося и закончив возгласом: «Надо быть идиотом, чтобы этого не понимать!» После его кончины, один человек, близкий Милюкову и лишь редко встречавшийся с П. Б. и мало его знавший, в двух словах точно определил (в письме ко мне) основное различие между ними: «Милюков был человек холодный, Струве — человек горящий».

Какой именно идеи, какой цели было посвящено это горение? Не пытаясь здесь исчерпать такую сложную и обширную тему, как мировоззрение П. Б. Струве, я хотел бы лишь отметить основной, определяющий мотив его общественных взглядов. Здесь, прежде всего, нужно решительно отвергнуть ходячее представление об эволюции его идей. Обычное, обывательское представление сводится к тому, что он радикально изменил идеалам своей юности и из одного лагеря перешел в противоположный. Часто приходилось — и от левых, и от правых — слышать неодоб-

рительное суждение: «Струве начал с того, что был крайним левым марксистом-революционером, другом Ленина, а кончил едва ли не крайним правым». Это суждение ложно еще более, чем обычно бывают ложны все ходячие, обывательские формулы. Оно, прежде всего, ложно уже чисто фактически. Как я уже упоминал, ни когда П. Б. не был ни «другом Ленина» (личность и умственный тип которого были ему всегда — даже и в юности — чужды и ненавистны), ни ортодоксальным марксистом, ни фанатиком-революционером. И никогда он не стал ни «крайним правым», ни даже вообще «правым» в типически русском смысле этого понятия; перед революцией 1917 года и даже сейчас же после нее, он, будучи убежденным «консерватором», отчетливо и страстно противопоставлял свой консерватизм демагогическому «черносотенству», сродство которого в его «погромном» существе с большевизмом он ясно сознавал и определенно высказывал. В 20-х годах он пытался коалиционно сблизиться с крайними правыми в плане объединения всех антибольшевистских партий на борьбе с большевизмом; эта попытка быстро кончилась неудачей, после которой он снова ясно осознал всю глубину и принципиальность своего духовного разногласия с обычным, господствующим типом русских «правых». Характеризуя эволюцию политических идей П. Б. чисто внешне, в банальных, ходячих (и потому неизбежно смутных) политических терминах, нужно будет сказать, что будучи в юности радикалом и социалистом, но и уже тогда скорее умеренного и чуждого революционной доктрины направления, он в зрелом возрасте и в старости стал умеренным же консерватором.

Но такого рода определение в ходячих терминах совершенно неадекватно конкретному духовному содержанию политических идей — и вообще, и в част-

ности в отношении воззрений П. Б. Поверхностные клички затуманивают и искажают подлинное существование вопроса. Я уже указывал, в иной связи, что П. Б. принадлежал к числу людей, которых Джемс определяет, как «однажды рожденных». Зная его убеждения на протяжении всей его жизни, я решительно утверждаю, что никакого вообще переворота в них никогда не произошло. В самом существе своих воззрений он вообще не изменился — от начала до конца он веровал в одно и то же. Если уже нужно — и поскольку вообще можно — определить тоже в ходячем общем политическом термине это единое неизменное основное содержание его политической веры, то П. Б. следовало бы назвать либералом. От начала до самого конца своей жизни он в своей политической и публицистической деятельности, как и в своих научно-социологических и экономических убеждениях был и остался сторонником свободы, как основного определяющего положительного начала общественной жизни и культурного строительства. В начале моих воспоминаний я указал, какой собственно смысл имел его юношеский «марксизм». Это указание я хотел бы здесь еще несколько дополнить. В своей юности П. Б. был действительно — довольно короткое время — сторонником социалистического движения в той политической форме, которую оно имело в Германии в лице социал-демократической партии (с некоторыми членами этой партии он тогда находился в дружеских личных отношениях). Но эта немецкая социал-демократическая партия, подобие которой русские марксисты, в том числе и П. Б., пытались тогда создать в России, была по своему конкретному содержанию и политической практике просто радикально-демократической партией, опиравшейся на рабочее движение и стремившейся к повышению экономическому

ского и культурного уровня рабочих масс. Собственно социалистический идеал фигурировал, как известно, только в ее «программе-максимум», т. е. как коначная цель, осуществление которой предносилось в неком туманно-отдаленном будущем; фактически он оставался ни к чему не обязывавшей романтической мечтой, а для более проницательных вождей — просто пустой фразой. По общему своему духу, эта партия была не радикальнее — скорее даже умереннее — обычного типа тогдашнего русского либерализма с его «народолюбием». В идеологии партии был даже момент, прямо противоположный революционизму: я имею в виду социологическое учение Маркса, по которому политические перевороты могут быть только плодом медленного, постепенного, как бы непроизвольно-органического назревания и изменения экономической структуры общества. К этому надо еще при соединить, что реальная политический пафос основанной тогда при участии П. Б. русской социал-демократической партии — как и всей тогдашней оппозиции — сводился к осуществлению единственной задачи, стоявшей перед русской общественностью — чисто либеральной задачи смены самодержавно-бюрократического строя строем конституционно-демократическим.

Правда, русская социал-демократическая партия — и в лице своих вождей (тогда еще солидарных между собой Ленина и Плеханова), и в лице своей рядовой массы — оказалась фактически гораздо более радикально-революционной, чем ее немецкий образец. В ней уже с первых лет ее существования назревал будущий «большевизм», приведший в 1917 г. к основанию коммунистической партии, резко противопоставившей себя европейскому социализму; но и более умеренные будущие русские «меньшевики» были гораздо более фанатически-догматическими револю-

ционерами, чем их западноевропейские товарищи. Но именно поэтому П. Б. с самого же начала почувствовал себя чуждым этой революционной группировке и очень скоро с ней разошелся окончательно.

Но возглавляемый в то время П. Б. так называемый «литературный» марксизм — т. е. марксизм, как идейное движение русской мысли — находясь как бы в некой «личной унии» с социал-демократической партией, имел вообще — как я уже указал в начале моих воспоминаний — совершенно иной общественно-философский смысл. Он был в русской мысли первым последовательным западничеством (до этого последовательными западниками были только одиночки, вроде И. С. Тургенева и Б. Н. Чичерина). Он полемически направлялся против народничества, этого завуалированного славяно-фильства, в течение многих десятилетий безраздельно господствовавшего над русской общественной мыслью. Он решительно восстал против исконно-русской тяги к «опрощению», против ставки на русскую отсталость и некультурность, как залога, что России удастся избегнуть трагических социальных трудностей западноевропейского буржуазного капиталистического строя, против мечты, что из архаически-примитивной формы крестьянской земельной общины быстро и мирно родится социальная гармония. Именно в этом состоял и личный идеиний пафос юношеского марксизма П. Б. Он ненавидел народничество, называл его «сифилисом русской мысли». Культу «мужика», культу отсталости и примитивности, как залога морально-общественного здоровья — толстовскому лозунгу: «по-мужицки, по-дурацки, по-крестьянски, по-христиански» (в общем смысле владевшему всей русской общественной мыслью) он решительно противопоставлял (в своей первой юношеской кни-

ге) призыв к культуре, возможной только через «выучку у капитализма».

Но это западничество, этот призыв к обогащению и усложнению культуры по западноевропейскому типу был, тем самым, либерализмом. Борьба против земельной общиной, связывавшей свободную инициативу крестьянства, была у П. Б. с самого начала борьбой за начало экономической свободы — т. е. борьбой против идеала социалистического хозяйства; и экономическая свобода мыслилась им, как необходимая база для прочной политической свободы и, тем самым, для свободного культурного развития вообще. Именно на этом пункте — еще под общим покровом «марксизма» — уже с самого начала обозначилось «разделение духов». Ортодоксальный марксизм, с его демагогической верой в классовую борьбу между «пролетариатом» и «буржуазией» и с его фанатической ненавистью к буржуазии и капитализму — этот марксизм, смотревший на капиталистическую fazu развития, как на трагическое «чистилище», через которое нужно пройти на пути в социалистический рай, и потому считавший «буржуазный либерализм» только своим временным попутчиком, — сразу же и совершенно справедливо почувствовал в П. Б. чуждый и враждебный ему дух «буржуазного либерала».

Эту свою юношескую веру в ценность экономической свободы — и свободы вообще, как условия социальной и культурной дифференциации и культурного развития и обогащения — П. Б. не только сохранил вообще до конца своей жизни — она оставалась в нем основным догматом его политического и социально-философского мировоззрения. На основе этого убеждения он — в оппозиции к конституционно-демократической партии, членом которой он был — решительно защищал аграрную реформу Сто-

лыпина, основанную на государственном поощрении частной земельной собственности в форме «хуторского хозяйства». В течение всей своей жизни он проводил эту веру в своей политической и публицистической деятельности; и вся научная работа его жизни — его политическая экономия и социология, его взорвания на историю России — была сосредоточена на обосновании именно этой веры. Повторяю: с самого начала своей умственной жизни и до последних ее дней он оставался «либералом».

«Консерватизм» второй половины его жизни — и в зачатке обозначившийся уже в его «марксизме», именно в указанном учении о зависимости политических перемен от органически внутреннего развития экономического быта (П. Б. посвятил особый этюд доказательству, что сама идея социализма и особенно указанная социологическая доктрина Маркса возникла из антиреволюционной реакции французских романтиков Ж. де Местра и Бональда на бунтарское просветительство 18-го века) — этот консерватизм ни в малейшей мере не был изменой либерализму, как это склонны утверждать люди, мыслящие в ходящих, трафаретных формулах. П. Б. сам любил называть себя «правым» или «консерватором»; он и был таковым, но только в том смысле, в каком «консерватизм» включает в себя «либерализм» и есть его основание — другими словами, в том смысле, в котором этот «консерватизм» вообще выходит за пределы традиционной противоположности между «правым» и «левым» и основан на ее принципиальном преодолении. Вот почему П. Б. никогда не мог ужиться ни с «левыми», ни с подлинными «нутряными» правыми и, по слову поэта, всю жизнь оставался «двух станов не боец, а только гость случайный». Консерватизм П. Б. состоял в убеждении, что традиция, историческое преемство, органическое произрастание но-

вого из старого есть необходимое условие подлинной свободы, и что напротив всякий самочинный «революционизм», всякая насилиственная и радикальная ломка общественного порядка, всякое разнуздание демагогических страстей ведет только к деспотизму и рабству. И вместе с тем он опирался на античную идею м е р ы — на убеждение в гибельности в человеческой жизни всякой крайности и безмерности и, напротив, в необходимости и благотворности соглашения, уступчивости, «компромисса» в отношениях между противоборствующими началами и силами общественной жизни. Пользуясь излюбленным выражением самого П. Б. (заимствованным им, если не ошибаюсь из характеристики кн. Вяземским политических идей Пушкина), он был «консервативным либералом» или «либеральным консерватором» — духовно — политическим типом, хорошо известным и совершенно понятным в Англии, но редко и лишь в виде исключения встречавшимся в России (в своем послесловии к моей брошюре о Пушкине, как политическом мыслителе, П. Б. приводил примеры русских либеральных консерваторов — Пушкина, Вяземского, Мордвинова, Чичерина, Пирогова и некоторых других).

Этот элемент «консерватизма» в составе консервативного либерализма постоянно усиливался и все отчетливее и настойчивее осознавался П. Б. в течение хода его жизненного духовного развития. Это было естественно не только в силу нравственного умудрения, необходимо приводящего к отрицанию крайности и безумств, а также в силу общего закона духовного развития человека, по которому юность ощущает творческие порывы как бы рождающимися спонтанно из глубины личного духа и в оппозиции ко всему прошлому, тогда как зрелый дух все более сознает, что все творческое в нем определено его укорененностью в почве прошлого и может быть

истинно плодотворно не как самочинное начинание, не как ломка и разрыв с прошлым, и именно как органическое прорастание задатков прошлого и через непрерывную преемственность с ним. Кроме этого общего закона духовного развития, здесь действовало также впечатление, накоплявшееся в сознании П. Б. от хода русской общественной жизни и мысли. Как я описал это в моих воспоминаниях о П. Б., поворотным пунктом здесь была для П. Б. революция 1905 года с обнаружившимися в ней чертами анархического бунтарства. Со свойственной ему умственной и духовной чуткостью, он почувствовал в событиях того времени не случайное сотрясение, а действие некоторых глубоких общих разрушительных сил. Под этим впечатлением он, порвав с умственными навыками русского либерализма, освященными вековой традицией, уже тогда стал утверждать, что главная опасность грозит России «не справа, а слева». Уже тогда он понял, что бунтарство, разнудзание анархических страстий народных масс, утопическая вера в благодетельность насильственной радикальной ломки существующего и разрыва с традициями несет с собой не свободу, а деспотизм, — и что, напротив, прочная и благотворная свобода может быть утверждена только постепенным приобщением низших классов к культуре и государственным навыкам высших, образованных слоев общества. Мысль об опасности «колебания основ» — которую либеральное общественное мнение привыкло только осмеивать, как лицемерное оправдание реакции — П. Б. едва ли не первый из состава русской радикальной оппозиции постиг во всей ее серьезности и стал переживать с глубокой тревогой. С этого момента его либерализм стал осознанно консервативным, и этот консерватизм, под влиянием дальнейших событий, все более укреплялся и углублялся в нем.

Но этот консерватизм никогда не переставал в нем быть либерализмом. Не только уже став консерватором, он со всей страстью своей натуры участвовал во время войны 1914-17 гг. в борьбе общественности против развращенных порядков верховной власти и бюрократии тех лет, не только в первый момент приветствовал крушение монархии, как освобождение России от давивших ее тисков, но и позднее — после того как не он один, а большинство из нас пережило под влиянием большевистской революции решительное отклонение «вправо» — ему приходилось не раз выступать против «правых» тенденций там, где они шли вразрез с его установкой либерального консерватизма. Так, в 1921 г., во время так называемого «карловацкого собора», он решительно возражал против попытки правой иерархии внести политику (именно монархическую) в эмигрантскую церковь, и так же решительно он выступил против той же правой иерархии при церковном расколе 1926 г. Так же он с самого начала и без колебаний осудил национал-социализм, в котором большинство русских правых видело долгожданное спасение от большевизма; в противоположность им, П. Б. усмотрел в демагогической диктатуре, принципиально отвергавшей начало личной свободы, опасного врага европейской культуры и во имя своего консерватизма восстал против разрушительных «правых» тенденций национал-социализма. Так идея свободы осталась до конца его жизни доминирующей в его политическом и культурно-философском мировоззрении. Начав юношеским утверждения, что свобода может быть достигнута и основана только на положительном развитии и обогащении культуры, он кончил в старости тем же заветным убеждением о неразрывности связи свободы с преемственным развитием культуры. Целая бездна отделяет этот либеральный консерватизм от консер-

ватизма реакционного — от вожделения насилиственно удержать жизнь на низшем уровне духовной и общественно-политической культуры, утвердить устойчивость старого через государственную опеку над человеческим духом, через подавление его вольного творческого начала.

Таким образом П. Б. по существу вообще никогда не менял своего общественного и духовного идеала; от начала до конца он шел к одной конечной цели. Это не значит, что он «не менял фронта». Напротив, он действительно и в буквальном смысле слова «менял фронт». Но это было не «изменой идеалу», как это обычно представляют себе, не переходом из одного воюющего лагеря в другой. Это было той «пременой фронта», которую вынужден предпринять во время войны всякий боец — в зависимости от того, с какой стороны нападает на него враг. П. Б. должен был бороться и «направо», и «налево», и в разные эпохи жизни главное направление его борьбы иногда радикально менялось, в зависимости от того, с какой стороны в разные исторические эпохи угрожала Россия, ее свободе и культурному развитию главная опасность. В этом отношении всему нашему поколению, умственно и общественно достигшему первой зрелости еще до 1905 года, пришлось пережить целых три радикально различных исторических эпохи. Конец первой начался в 1905 и завершился в 1917 году, с постепенным, в течение этого времени, разложением, отмиранием и уходом с исторической сцены старой бюрократической России. В этот первый период — до 1905, и отчасти до 1917 года — приходилось бороться прежде всего с гибельными, задерживавшими свободное культурное развитие влияниями близорукой реакционной государственной опеки. Начиная с 1917 года страшнейшим и жесточайшим врагом того же свободного культурного развития

стала большевистская власть и вся идеология, на которой она была построена. Наконец, с начала 30-х годов над Европой и Россией нависла новая грозная опасность, разразившаяся в 1939 году в неслыханном по силе потрясении мировой войны. Восстал новый враг, быть может, еще более грозный и опасный, чем большевизм (хотя в своем существе ему родственный). Для Европы и России тем самым наступила новая — уже третья для нашего поколения — историческая эпоха, потребовавшая новой борьбы и, тем самым, нового «фронта». Нужна большая независимость и чуткость политической мысли, чтобы — как это пришлось нашему поколению — ориентироваться сразу в этих трех, совершенно разнородных исторических эпохах, чтобы, порвав с укоренившимися привычками мысли и оценок, без колебания двинуться в бой в том направлении, откуда нападает новый враг. Такой именно независимостью и чуткостью мысли обладал в исключительной мере П. Б. Как в эпоху от 1905 до 1917 года, еще продолжая бороться с традиционным противником «справа», он первый ощутил еще более грозного врага слева, и с 1917 года, «изменив фронт», все силы своего духа отдал борьбе с этим новым врагом, так с начала 30-х годов он стал чуять нового, третьего врага, и с момента его нападения на Россию без колебания, без малейшего духовного и умственного смущения, сознал себя духовным участником великой отечественной войны, которую Россия, хотя и возглавляемая тем же гибельным, ненавистным ей большевизмом, вынужденавести против своего грозного врага\*).

---

\*.) Это было написано в 1944 г., до крушения Германии. До новой опасности, грозящей теперь миру от агрессивности большевизма, переродившегося в новый фашизм, П. Б. не дожил. Но мне известно, что он уже предвидел необходимость новой борьбы с большевизмом, после разгрома Германии.

Эта духовная свобода может быть выражена и так, что П. Б. вообще не был служителем какого-либо «направления идей». Даже доминирующие в его общественно-политическом миросозерцании начала с о б о д ы и к у л ь т у р ы не были для него «идеалами», были не высшей, самодовлеющей целью и ценностью, а лишь необходимыми средствами к ней. То, чему было подлинно посвящено его служение, было не каким-либо отвлеченным началом, а живой реальностью: это была р о д и н а и ее благо. Заслуживает быть отмеченным, как существенная черта его миросозерцания и его духовного существа, что в среде, из которой он вышел — в среде русской радикальной интеллигенции и в известной мере даже вообще в среде русской либеральной общественности — П. Б. был первым человеком, отчетливо осознавшим себя р у с с к и м п а т r i o t o м и проповедовавшим патриотизм. Это может показаться парадоксальным. Не есть ли служение родине обоснование вообще всякой бескорыстной политической деятельности? Конечно, благо родины, любовь к родине в некоторой общей форме были определяющим мотивом всех политических партий в России, включая революционные (за исключением только чистых, принципиальных интернационалистов). Но это верно лишь в том смысле, в котором понятие родины совпадает с понятием на р о д а . Сознательный патриотизм предполагает, однако, еще нечто иное: осознание ценности самого национального бытия, как такого, и, тем самым, его организации в лице государства. Но в силу некоторых особенностей русской истории 18-го и 19-го века эта мысль и забота о самом национальном бытии, его сохранности и процветании, оказалась достоянием одних только правящих кругов; широкие слои общества и народа настолько привыкли ощущать неколебимую прочность

и мощь национального бытия, что совсем отучились думать о нем; это сказывалось в особенности в полном пренебрежении к вопросам внешней политики. Настроение отечественной войны 1812 года миновало быстро и довольно бесследно; уже в 1831 году, по поводу отношения русского общества к польскому восстанию, Пушкин жаловался на господствующий в России патриотический индифферентизм. Тем более этот индифферентизм овладел русским обществом, начиная с 60-х годов, когда все внимание было обращено на внутренние реформы и когда в состав общества вошли недворянские слои, далекие от навыков государственной власти. В сущности впервые патриотизм снова проявился в России в 1914 году, в момент объявления Германии войны; но и эта вспышка патриотического чувства была кратковременной и слабой. Все мы выросли и жили в атмосфере равнодушия к проблеме национального бытия: идеи национализма и патриотизма, лозунги о защите государства от внешних и внутренних врагов казались только лицемерным прикрытием реакционных мероприятий и вожделений власти, и над ними было принято только смеяться. Славянофильство, культивировавшее национальное сознание, скоро сошло со сцены или начало вырождаться; все оппозиционное общественное мнение стало «западническим», а западничество — если не принципиально, то фактически — постепенно сливалось с индифферентизмом к проблеме государственно-национального бытия России.

Среди этой атмосферы, безраздельно господствовавшей особенно в среде радикальной интеллигенции, П. Б., кажется, первый снова остро осознал эту проблему и, со своейственной ему независимостью мысли, стал проповедовать патриотизм. Даже его «пораженчество» в эпоху Русско-японской войны носило иной оттенок, чем общераспространенное тогда

пораженчество — оно не было основано на принципиальном равнодушии к государственной мощи России. И я уже упоминал в моих воспоминаниях, какой скандал вызвал в кругах «освободительного движения» призыв П. Б. к молодежи во время уличных манифестаций солидаризоваться с русской армией. Но особенно после 1905 года П. Б. стал открыто пропагандировать идею патриотизма и национального сознания. Я уже упоминал, что он — идя опять на конфликт с общественным мнением — не побоялся отметить опасность для России украинского движения и настойчиво подчеркнул значение общерусского языка, как фундамента общерусской культуры; упоминал я также об его программной статье «Великая Россия», впервые наметившей идею «Российской Империи», как ценности, которую надлежит блюсти и развивать. А в 1917 году, как я тоже указал, он пытался основать Лигу русской культуры.

Все это были не отдельные случайные выступления. Немец по своему происхождению (его мать тоже была обрусевшая немка, из прибалтийского края, баронесса Розен), проведший свое детство в Германии, он ощущал себя не только исконно-русским человеком (что случается едва ли не со всеми иностранцами, переселившимися в Россию), но и горячим русским патриотом; и в центре его интересов и его служения стояла именно Россия и ее судьба. Его политическое мировоззрение с самого начала основывалось не на каких-либо партийных принципах, но только на заботе о конкретной судьбе России; и потому оно охватывало сразу — явление единственное в оппозиционных кругах того времени — проблемы не только внутренней, но и внешней политики. Его политические заботы касались не только — как это было типично для дореволюционной России — материального благополучия и повышения образователь-

ного уровня народных масс, но и укрепления и расцвета русской национальной культуры и, тем самым, ее хранителя — русской государственности. Как я указал в моих воспоминаниях, П. Б. с самого начала внес в господствующее оппозиционное мировоззрение отчетливую ноту государственного сознания. При всем многообразии его научного творчества, все научные вопросы интересовали его, в конечном счете, не столько в их отвлеченном содержании, сколько в их отношении к судьбе России и ее духовной культуры. Совсем не случайно, что и первая его юношеская книга, сразу его прославившая, и труд, которому он посвятил последние годы своей жизни и за которым его застала смерть, оба были посвящены судьбам России. Он начал с книги об «Экономическом развитии России» — книги, которая фактически содержала указание и на духовный путь России; и он кончил напряженной научной работой над проверкой и осмыслением пути России с древнейших времен до современности. Он горел патриотической заботой и тревогой за судьбу России всю свою жизнь; и в последние два года своей жизни — в годы страшного испытания России — он жил надеждой на ее спасение и исцеление — более того, непоколебимой верой в величие, всепобеждающую силу и славное будущее русского духа.

Сознание родины, как высшей ценности, и служение родине — не только ее земным нуждам в плане эмпирической действительности, но и самой ее духовной реальности, как некоего соборного лица — не нуждалось у П. Б. в каком-либо обосновании: оно просто было непосредственным чувством, доминирующей страстью его жизни. Но по существу, в порядке морально-психологическом, оно входило, как элемент, в состав его духовной жизни, как-то вытекало из его общего миропонимания и мироощуще-

ния. Я уже упоминал, что — в отличие от обычного типа русского интеллигента нашего поколения — П. Б. уже в юности не только имел, но и отчетливо и непрерывно осознавал в себе напряженную внутреннюю духовную жизнь. Сама политическая страсть была у него, тоже в отличие от обычного типа русского интеллигента, не бессознательным суррогатом религии, не неким наивным идолопоклонством, а скорее естественным выражением и практическим приложением духовной и религиозной жизни. Его действительно нравственной натуре был чужд и глубоко антипатичен (встречающийся и в русской православной среде) тип пиетистического, отстраняющегося от жизни благочестия, практически связанный с равнодушием к добру и злу, к земной неправде. Но его мироизъерцание и жизнепонимание отнюдь не исчезали в вале с политикой; оно охватывало общие основы и внутренние глубины жизни и бытия. П. Б. не был ни самостоятельным философом — умом, напряженно направленным на постижение последних тайн мирового бытия, ни самостоятельным религиозным мыслителем, т. е. душой, бурно переживающей религиозную проблематику и мучающейся ею. И тем не менее, он в каком-то общем смысле был и философским умом, и религиозной душой. Он постоянно размышлял над философскими проблемами и всегда, уже начиная с юности, имел осознанную религиозную жизнь; то и другое составляло как бы непроизвольный общий фон или фундамент его мысли. Он был духом, как-то непосредственно укорененным в этих глубинах бытия.

Попытаюсь подвести здесь вкратце итоги его философской и религиозной мысли, отдельные выражения которой я попутно уже упоминал в воспоминаниях. Философски П. Б. был основательно начитан в литературе 19-го века, начиная с Канта, и усердно

следил за всеми новинками философской мысли; из старых классиков он хорошо знал и ценил Аристотеля («Этику» и «Политику» которого он специально изучил в связи со своими социологическими изысканиями), а также Лейбница. Как я уже указывал, он первый в нашем поколении, уже в ранней юности, преодолел господствующий материализм — официальную философскую доктрину марксизма! — и позитивизм, первый ознакомил русскую публику с немецким новокантианским критицизмом и идеализмом — этим первым явлением европейского философского возрождения последней четверти 19-го века. По его почину — проявленному в философских страницах его юношеской книги об экономическом развитии России — русские читатели, в лице нашего поколения, заменили чтение Спенсера и Огюста Конта чтением Канта, от него узнали имена новых тогда вождей немецкой философской мысли — Риля, Когена, Рикерта, Шуппе, Зиммеля и других. Он первый — по крайней мере для более широких кругов русской интеллигенции — проломил брешь в замкнутости философского кругозора интеллигенции, провозгласив права метафизической мысли (национально-русская метафизическая школа Лопатина и Сергея Трубецкого стояла в то время особняком и не пользовалась влиянием; Владимир Соловьев славился главным образом своей публицистикой, не находя отголоска своей философии). П. Б. явился, таким образом, на пороге 19-го и 20-го веков, родоначальником движения русского идеализма, который вскоре развелся в русскую религиозную философию. Он сам не пошел по этому пути, им проложенному, и относился с осторожным скептицизмом к религиозной философии и метафизике (ср. выше его письмо ко мне от 31 марта 1943 г.). Ему самому достаточно было пробудить в себе и других общее сознание, что бытие имеет по-

следние глубины, имеет как бы общие, запредельные специально-научному знанию горизонты; он отказывался углубляться в их изыскания. Философию он ценил и изучал, с одной стороны, как методологию научного знания, как уяснение его основоположных понятий и общих путей и, с другой стороны, как руководство к общей духовной ориентировке в жизни. По содержанию своего онтологического мировоззрения он был, как я уже упоминал, «плюралистом» и написал «Очерки плюралистической философии». В этом выражалась его основная интуиция, определившая и его социологическое, и его политическое мировоззрение: представление о мире и жизни, как системе свободного взаимодействия между единичными конкретными существами, носителями спонтанной активности. Под конец жизни он пытался подвести итоги своему философскому мировоззрению в оставшейся, повидимому, незаконченной «Системе критической философии» (рукопись эта, кажется, пропала во время войны в Белграде).

Вместе с тем он был, повторяю, и сконно-религиозной душой. Как-то легко и просто, само собой, не пережив при этом никакого религиозного кризиса, он преодолел — тоже уже в юности — традиционное безбожие русского интеллигентского сознания. Если не ошибаюсь, опять-таки едва ли не первый из нашего поколения он заговорил в журнальной литературе в положительном смысле о «мистике» и религии, и употребил — большая в то время смелость! — имя Божие. Сразу став на естественную для его духа религиозную почву, он никогда не занимался «религиозными вопросами», не обсуждал проблем и понятий религии. Как я уже указал, он никогда не переживал трагически исканий и недоумений в этой области, никогда не пытался отдать себе ясный отчет в догматическом содержании своих верований. Он

считал это, как он мне говорил, делом бесплодным и потому ненужным. В середине своей жизни он склонялся — может быть под влиянием своей общей, как бы кровной связи с немецкой культурой — к верованиям примерно в духе немецкого либерально-протестантского христианского богословия. В последнее десятилетие своей жизни он сознавал себя верующим православным, часто, хотя и не постоянно, посещал церковные богослужения, исповедывался и причащался. Но эту православную веру он исповедывал в порядке, который католические богословы называют *fides externa*: он просто с какой-то высшей духовной умудренностью признал, что в этой области — говоря словами Эврипида — «не мудро умствоваться»; он покорно подчинялся авторитету традиционного религиозного учения христианского человечества (или того восточного христианства, к которому он принадлежал). Это было ему тем более легко, что, по его убеждению, в религии культ, молитвенная жизнь имеет более решающее значение, чем идеи, отвлечённое догматическое вероучение. Для себя самого он оставался свободным религиозным духом, не связанным никакой точно оформленной догматикой. Он просто духовно жил, непрерывно ощущая Святиню Бога, — жил, как говорит Достоевский, через «касание мирам иным». Это было ему достаточно. И это смирение в религиозном мудрствовании, этот принципиальный «агностицизм» (как он это высказал в том же письме ко мне) как-то входил в состав его консерватизма — его убеждения, что дерзаниям человеческого духа поставлены некие непереходимые пределы. Он следовал завету Гёте: «Познавать постижимое и тихо почитать неисповедимое».

Так прожил свою относительно долгую (по русским понятиям и принимая во внимание выпавшие на его долю испытания) жизнь этот во всех отноше-

ниях замечательный человек, одновременно беспрерывно участвуя в бурной политической борьбе и предаваясь сосредоточенному созерцанию. Когда после его кончины его образ во всей своей значительности снова встал перед моим сознанием, я поставил себе вопрос: отчего, несмотря на его огромные дарования и беспрерывное напряженное творчество, его научное и духовное наследие все же как-то неадекватно размерам и богатству его гениальной личности? Ибо для меня — и для всех, кто знал его лично — несомненно, что все его произведения, все, что он оставил после себя, есть только фрагмент, скучные обрывки той сокровищницы знаний и достижений, которой он обладал и которую унес с собой. Это касается прежде всего его научного творчества. Он не написал ни одной вполне законченной научной работы. Первая опубликованная им — после юношеских «Критических заметок» — научная книга («Крепостное хозяйство») была собранием объединенных общей темой небольших работ. Единственная цельная, относительно «толстая» книга, им написанная за всю его жизнь — исследование «Хозяйство и цена» — обозначенная им, как первый том задуманной и продуманной им экономической теории; продолжение ее остановилось на маленькой брошюре — первом выпуске второго тома. Все остальное, им написанное, носит характер «очерков», незаконченных набросков, и выражено им в журнальных статьях или брошюрах. Конечно, ближайшее объяснение заключается здесь в том, что он разбрасывался, растратчивал свои силы на практическую политическую деятельность (в общем неподходящую его натуре и потому скорее неудачную) и на текущую газетную публицистику. Но это объяснение недостаточно. Другие люди — дарований не больших, а часто скорее меньших, чем он — умели сочетать политическую деятельность и публицистику с

большой научной плодотворностью. Конечно, здесь не следует руководиться чисто внешними критериями; и утверждение о недостаточности оставленных им научных трудов нуждается в оговорке. Очень многие из его научных набросков и относительно кратких статей содержат больше знаний и оригинальных мыслей, чем обычного типа толстые научные книги. Любому научному ремесленнику ничего не стоило бы с помощью обширных цитат из приводимых им книг или подробного изложения намеченных им мыслей превратить иную статью П. Б. в обстоятельное объемистое научное исследование. И когда наступит время для издания, если и не полного собрания его сочинений, то, по крайней мере, собрания его научных трудов, обнаружится, что его научное наследие весьма богато и имеет большую и длительную ценность. Это не противоречит, однако, тому, что все сотворенное им остается все же далеко неадекватно богатству и значительности его знаний и мыслей.

Я думаю, что фрагментарность, форма незаконченных «набросков» как-то соответствовала самой его духовной натуре, внутреннему характеру его творчества. Прежде всего: обладая большим литературным дарованием — особенно ярко выразившимся в его публицистике — он любил лаконичность, стремился высказывать свои мысли в кратких выразительных формулах, подчеркивая как бы только сердцевину своих идей, чуждаясь многословного обстоятельного их развития. Он как бы возвещал только существование своих интуиций, оставляя про себя и весь сложный и трудный процесс их добывания, которым другие авторы делятся с читателем, и все множество выводов и производных мыслей, из них вытекающих. Он как будто любил делиться только отдельными блестками своих мыслей. Но и не в одном этом дело. Бывают творцы — однодумы, умы, одержимые

одной идеей, которой они подчиняют все ими познаваемое; для таких умов познание естественно укладывается в законченную, целостную систему. Таков, например, тип гениальных философов: они как будто родились, чтобы сказать одно свое слово, увидеть бытие с одной его стороны, под одним особым углом зрения и возвестить миру это свое «відение»; все богатство и вся противоречивая сложность бытия естественно укладывается для них в одну целостную картину — а что в нее не укладывается, того они вообще не замечают. Но есть такого же типа и умы узкие и бедные, «мономаны», которые вообще ничего не видят в мире, кроме одной своей идеи; такие умы самой влюбленностью в свою мысль, упорством в ее повторении и в отрицании всего, ей противоречащего, часто покоряют общественное мнение и приобретают репутацию значительных мыслителей; можно было бы привести не мало примеров научных знаменитостей или духовных вождей такого типа. Прямой их противоположностью был П. Б. Конечно, и он обладал некоторыми руководящими, центральными идеями, как бы прирожденными ему духовными и познавательными интуициями, без чего вообще невозможно творчество; некоторые из них я старался выше наметить. Но сила его умственного и духовного творчества была как-то связана с широтой горизонта, многообразием відения, беспристрастием в постижении и признании противоречивых и противоборствующих начал бытия — с любовным вниманием к богатству деталей. Выхватить из бесконечности жизни отдельный ее кусок или отдельную сторону, замкнуть их в законченную самодовлеющую картину и воображать, что этой картиной исчерпана вся полнота реальности — это противоречило его умственному и духовному существу. Он, напротив, остро чувствовал условность всякой замкнутой стройной системы идей,

присущий ей момент «стилизации», искусственного обеднения и даже как бы насильтственного сгибания и искажения конкретной реальности. Всякую отвлеченную мысль он склонен был сопровождать поправками, ограничениями и дополнениями. Его познавательное отношение к реальности выражимо в словах Гёте, что жизнь укладывается в теорию только, как живое тело укладывается на крест, на котором оно распинается. И тип его мысли может быть лучше всего охарактеризован тоже гётовским термином «предметного мышления» (*gegenständliches Denken*). Это есть мышление, как бы прикованное к конкретной предметной реальности и избегающее уклонения от нее в гордыне отвлеченных построений. Такого типа мышление выражимо собственно только в художественном слове; оно сполна удавалось в области науки только некоторым гениальным историкам, вроде Мишле, Ранке, Трейчке. Когда оно сочетается с врожденным стремлением к обобщениям и осуществляется в отвлеченных понятиях, оно, конечно, есть в каком-то смысле помеха для законченного и отчетливо выраженного научного построения. С ним несовместим дар «композиции», столь же необходимый в науке, как и в искусстве; и этого дара, как я понимаю дело, недоставало П. Б. Научная картина реальности для него необходимо оставалась именно наброском.

Истинной стихией мысли и духа П. Б. поэтому было только живое слово — литературное слово в форме краткой, выразительной, обращенной сразу и к мысли и к чувству читателя публицистической статьи (некоторые такие статьи П. Б. суть блестящие произведения художественного слова) и, прежде всего, устная речь. Под устной речью я разумею не ораторскую фразу, еще гораздо более условную, чем научная теория, и всегда склонную к стилизации, преувеличениям и фальши, а непринужденное

слово правдивой беседы. Я указывал в моих воспоминаниях, что очарованием устного слова П. Б. было непрестанное усилие мысли в тщательном отыскании правдивого, точного слова. В этом элементе личного умственного общения, наставничества в форме «диалога» он был без остатка в своей стихии, и именно через эту стихию идет его главное влияние на современную ему мысль. Я думаю поэтому, что несмотря на всю значительность его научных трудов, на длительную ценность его публицистики, он войдет в историю русской мысли все же главным образом как личный духовный образ, как живая личность, через свою переписку и благодарные воспоминания его друзей и учеников — примерно так же, как сохранились в истории русской мысли такие — в других отношениях совершенно непохожие на него — умы, как Белинский или Грановский. Это возлагает особый долг на всех, кому дорога его память.



## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Семен Людвигович Франк родился 16 (28) января 1877 года в Москве в семье врача. Отец умер, когда мальчику было пять лет. После смерти мужа мать С. Л. с сыном переселилась к своему отцу, одному из основателей еврейской общины в Москве в 60-х годах. Первым воспитателем С. Л. стал его дед, под влиянием которого сложились первые, глубоко запавшие в душу будущего философа, религиозные впечатления. Наряду с ними через окружающую русскую среду шли религиозные настроения русского православия. Особенностью Франка было очень раннее пробуждение религиозности. Умирая, дед просил внука не переставать заниматься еврейским языком и еврейским богословием. В буквальном смысле Франк этой просьбы не выполнил, так как позднее, уже взрослым человеком, он пришел к христианству и стал одним из вождей религиозного возрождения русской интеллигенции. Но в каком-то высшем смысле сам Франк считал, что он не изменил деду. Для него его приход к христианству был своего рода «наслоением» на той «ветхозаветной основе», которая была заложена в его душе покойным дедом.

Другим человеком, оказавшим сильное влияние на Франка, был его отчим, В. И. Зак, в дни своей молодости связанный с народничеством. Он разбудил у Франка интерес к общественным вопросам, как они вставали тогда перед радикальной интеллигенцией.

Свое детство Франк провел в Москве и десяти лет

был принят в гимназию при Лазаревском институте восточных языков. Но в 1892 году, вскоре после своего второго замужества, мать и отчим перебрались в Нижний-Новгород; здесь Франк и окончил гимназию. В старших классах гимназии он стал членом кружка, изучавшего марксизм. После окончания гимназии в Нижнем, Франк вернулся в Москву, где и поступил на юридический факультет Московского университета. В течение первых двух лет студенческой жизни он продолжал быть связанным с кругами революционно-настроенной русской молодежи. Но уже в 1896 году в нем начал назревать духовный перелом, приведший его к разрыву с революционной средой и решению посвятить свои силы научной работе. В 1898 году он впервые встретился с П. Б. Струве, книга которого «Критические заметки об экономическом развитии России» оказалась большое влияние на Франка в его ранний марксистский период. Из этой первой встречи вскоре возникла дружба, не прекращавшаяся до самой смерти Струве в 1944 году. Дружбе этой не помешали и идеальные разногласия, которые временами возникали между ними. Косвенно о глубине этой дружбы свидетельствует самое посвящение «Биографии П. Б. Струве»: «...его и моим детям».

Вскоре после студенческих беспорядков в 1899 году, Франк, хотя и не принимавший участия в беспорядках, был арестован и выслан из Москвы на два года без права проживания в университетских городах. Сначала он уехал в Нижний, затем в Берлин, где слушал лекции по политической экономии и философии. Здесь же Франк написал свою первую книгу «Теория ценности Маркса и ее значение». Весной 1901 года Франк сдал государственные экзамены в Казанском университете.

Среди книг, оказавших большое влияние на Франка, нужно упомянуть книгу Фр. Ницше «Так говорил

Заратустра». По собственному свидетельству Франка, он был потрясен не учением Ницше, а «атмосферой глубины духовной жизни». С этого момента он осознал «реальность духа, реальность глубины в моей собственной душе». Философское выражение эта концепция получила позднее в книге «Предмет знания» (СПБ, 1915 г.).

Сотрудничество и дружба с П. Б. Струве окрепли во время подготовки ими сборника «Проблемы идеализма», вышедшего в 1902 году. Аналогию этой 45-летней дружбы нужно искать, как справедливо замечает Г. П. Струве (см. сборник «С. Л. Франк», Мюнхен, 1954 г.), или в пушкинскую эпоху, или среди людей сороковых годов прошлого века. Обо всех этапах ее и рассказывает настоящая «Биография П. Б. Струве».

С. Л. Франк ненадолго пережил своего друга, он умер в 1950 году в Лондоне. С. Л. Франк всю свою жизнь напряженно работал и опубликовал очень большое число книг и статей по философским, религиозным и социальным вопросам. Список трудов его занимает в упомянутом сборнике его памяти 15 страниц.



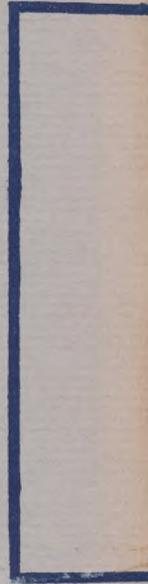
## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора . . . . .	9
Глава I. Знакомство с именем П. Б. и первая встреча с ним. «Марксизм» . . . . .	11
Глава II. Эпоха первой эмиграции П. Б. Струве (1902-1905) . . . . .	31
Глава III. Революция 1905 г. и политическая деятельность П. Б. Струве в 1905-07 гг. . . . .	47
Глава IV. Профессура и редактирование «Русской Мысли» (1907-1917 гг.) . . . . .	63
Глава V. Годы 1909-1913. «Вехи». Литературная и общественная деятельность. Встреча заграницей . . . . .	81
Глава VI. Война и революция (1914-1918) . . . . .	103
Глава VII. Первые годы эмиграции. Наше расхождение (1922-1927) . . . . .	123
Глава VIII. Последние встречи. Новое сближение (1928-1938) . . . . .	149
Глава IX. Последние годы жизни П. Б. Переписка (1938-1944) . . . . .	169
 Приложение:	
Умственный склад, личность и воззрения П. Б. Струве . . . . .	193
От издательства . . . . .	233



**Printed in U. S. A.**  
**WALDON PRESS,**  
**203 Wooster Street,**  
**New York 12, N. Y.**

Цена: \$2.25



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА